

АНДРЕЙ РУБАНОВ

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ "ЯСНАЯ ПОЛЯНА"

ФИННИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ

18+

РОМАН


РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Андрей Рубанов

Финист – ясный сокол

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Рубанов А. В.

Финист – ясный сокол / А. В. Рубанов — «Издательство АСТ»,
2019

ISBN 978-5-17-113151-7

Это изустная побывальщина. Она никогда не была записана буквами. Во времена, о которых здесь рассказано, букв ещё не придумали. Малая девка Марья обошла всю землю и добралась до неба в поисках любимого — его звали Финист, и он не был человеком. Никто не верил, что она его найдёт. Но все помогали. В те времена каждый помогал каждому — иначе было не выжить. В те времена по соседству с людьми обитали древние змеи, мавки, кикиморы, шишиги, анчутки, лешаки и оборотни. Трое мужчин любили Марью, безо всякой надежды на взаимность. Один защитил, другой довёл до края земли, третий донёс до неба. Из-за одной малой девки целый мир сдвинулся и едва не слетел с оси. Ничто, кроме любви, не может сдвинуть мир с места.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-113151-7

© Рубанов А. В., 2019
© Издательство АСТ, 2019

Содержание

Сказ первый	5
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Андрей Рубанов

Финист – ясный сокол

Сказ первый Глумила

1.

Тут у вас хорошо. Интересно. Все пьяные, все весёлые. В таких местах бывать – одно удовольствие. Я люблю, когда шумно, когда толпа, когда не знаешь, что дальше будет. То ли ограбят, то ли приглубят, то ли взашей вытолкают.

Звать меня Иван.

Есть второе имя, заветное, но я его потом скажу, и то – если ты мне придёшься по нраву. А не придёшься – не скажу.

А третье имя, смертное, не скажу совсем. Его назову только богам, когда помру.

Да, у меня есть бубен. Большой, в мой рост. Его завтра на лодке привезут. Есть и малые бубенчики – не скажу где.

Скажу только, что отлили те бубенчики из такой чистой меди, что когда они звенят – даже змеи танцуют.

Потому что если я тебе скажу, где мои бубенчики, – так ты меня возьмёшь да зарежешь, ради той чистой меди.

Да, по-вашему я – скоморох. По-нашему – «глумила». Или «глумец». Шут, ага.

Скоморох, скоробрёх.

Мы глумилы, мы дальше всех от могилы.
Поём, пляшем, руками-ногами машем.
Прыгаем выше головы да на обе стороны.
В бубен бьём, никогда не врём.
Наше дело глумецкое, озорное, молодецкое.

Конечно, я знаю ваш язык. Я сам венед. А ты, судя поговору, вятич. Вот, угадал.

А отец мой помер. Пошёл в лес, и его зверь задрал. Когда он меня родил, ему было восемьдесят четыре года.

Когда он помер, мне исполнилось пять.

Но рассказ вообще не про меня, а про молодую девку.

Если в рассказе нет молодой девки – это, как ты понимаешь, и не рассказ вовсе.

Обязательно девка должна быть.

Конечно, я не местный. Здесь у вас бывал – но очень давно. Может, лет семь назад. С тех пор всё тут изменилось. Лучше стало. Очень мне у вас нравится. Народу – толпа, все нарядные, на каждом углу пиво наливают и брагу. И девчонки красивые. Такие, что подойти страшно. Нет, я не робкий, я ж глумила, мы робкими не бываем. Перед старшинами не робею, в любой богатой гридне держусь как у себя дома, а девчонку увижу – сам не свой.

Нет, ты мне так много вопросов не задавай. Лучше налей.

Я буду рассказывать сначала коротко, затем всё более подробно. Моё лицо при этом может принять неприятное выражение. Кроме того, в определённое время я впаду в нарочи-

тое состояние, могу крикнуть, или заговорить не своим голосом, или хватануть себя зубами за пальцы. Может и слюна изо рта пойти, или сопля из ноздри выбежать.

Но в таком телесном проявлении не будет ничего стыдного.

Я не обещал, что будет легко и приятно.

Ничему не удивляйся, просто слушай и получай удовольствие. Понимаешь меня? Хорошо. Тогда слушай.

Это было во время оно.

Очень, очень давно. Когда я был горячий, лёгкий, точный и весёлый.

Когда моему разуму открывается расстояние между тем борзым мальчишкой и мною теперешним – я ужасаюсь и восхищаюсь силе водоворота времени, протекающего через всё живое.

Коловрат всемогущ, это так.

С тех времён я прожил ещё две судьбы. Был вором, потом колдуном. Теперь живу четвёртую судьбу. Может, и не последнюю.

Я мало помню из бестолковой юности. Только самое изумительное, самое стыдное и самое страшное. Наша память так устроена.

И вот эта девка была самый изумительный человек, которого я встретил в те лета.

А всё, что с ней случилось, – самая страшная быль из всех моих былей.

В прочие годы передо мной появлялись и другие невероятные люди, скроенные по удивительным меркам, туго заряженные силой жизни. Но девка Марья первая из них встретила меня в мельтешении людской гущи. Поэтому она навсегда со мной останется: на дне разума, в самой твёрдой памяти.

Моя мать была обычная баба, дочь бортника. А отец тоже был глумила. Скоморох. И мать, когда влюбилась, с ним ушла, и так родился я.

И дед мой тоже был глумила, и прадед.

Навыков много в этом деле, и они передаются от отца к сыну.

Но не обязательно: бывает, что отец – какой-нибудь простой засечный оратай, а сын – и поёт, и играет, и чего только не вытворяет.

Вот мой друг тех времён, рыжий Кирьяк – он был именно такой. Глумила в первом колене.

А я – потомственный, и число колен моих велико: мой род от Дамира, и от Глеба, и от Владуха, и от Новика, а там дальше и другие есть, и слава их гремела по всей Оке до самого Итиля и дальше до Лукового моря.

И пока я не начал своего рассказа, скажи мне – где тут можно недорого переночевать?

Отсюда – четвёртый дом? Но там нет домов, только землянки. Нет, я не против, но моим костям полезно спать на дереве. Без обид, ага? Допустим, ежели я заплачу полкуны лысых за три ночи? С хорошей хозяйкой? Подберёшь мне что-нибудь? Пока я не охмелел?

Рассказывать буду долго, предупреждаю, до утра могу, если твоей браги хватит.

Да, кстати! Пока не забыл. Вы тут, извиняюсь, кому требу подносите?

В смысле, какому богу жертвуете?

Чего молчите? Это простой вопрос.

Мать моя подносила Мокоши, чтоб был в доме достаток, и скотьюму богу, чтоб дал ещё детей, и Хорсу, богу света и тепла. В моей родной селитьбе все подносили Хорсу – ну вот и мать подносила ему, а вы кому подносите?

Ага, понимаю. Ну что же, хорошо.

Вот и я ему теперь жертвую из первой чаши.

Да прольётся сладкая брага прямо в горло этого сильного бога.

Пошли удачу вашему дому, и чтоб его двери, когда надо, открывались во всю ширину – а когда надо, закрывались накрепко.

Сам я не скажу, чтобы часто подносил требу, и у меня нет какого-то одного бога, на которого я полагаюсь.

Мне кажется, боги мало про нас думают, а больше заняты своими делами.

Они такие же, как мы, они тоже движутся по кругу, они ничего не могут изменить.

Иногда мне кажется, что боги нас обманывают. Мы проливаем кровь на их алтари, а на самом деле наша кровь им не нужна, а нужно что-то другое.

Подожди, не надо так глазами сверкать. Я не хулигель богам. Но я не обещал, что рассказ будет простым. Мы уговорились, что я буду излагать, а вы слушать, – слушайте и молчите. Я жертвую, как любой другой нормальный человек, всегда, когда мне нужна подмога. Я бродяга, мы же глумили, мы ходим из одного места в другое, а в каждой селитьбе свои порядки: в одном месте стоит Мара – и я жертвую Маре, в другом месте стоит Хорс, и я тогда жертвую Хорсу.

Конечно, от сердца жертвую, иначе какая жертва? Но, повторяю, я не из тех, кто по любому поводу курицу на третище несёт. Честно признаюсь. Когда закончу этот сказ, сами поймёте.

Один умный человек, живший на другом конце света, сказал: бог получает божью долю, а человек – человеческую. В общем, я больше думаю про свою, человеческую долю, а боги свою божью долю как получали, так и будут получать.

Однажды я был в городе, где стояли два идола, бог скота и бог неба, и эти идола были такие древние, что от времени черты их стёрлись, и волхвы забыли, кто есть кто, и стали называть их просто «два бога», устроили общий жертвенник и приносили одну требу двум богам сразу. И ничего, богатый был город, красивый, и его жители не знали горя.

А в другом месте, далеко на севере, люди жертвовали окаменевшему черепу древнего змея, причём кровь не проливали, а отдавали зубы. Волхв брал дубовую киянку, выбивал человеку один-два зуба и клал внутрь черепа. Вот это жертва, я понимаю! Я видел тот череп – высотой в три сажени, он на одну половину врос в землю, а на вторую половину был доверху наполнен пожертвованными человеческими зубами. Сами волхвы при том змеевом третище тоже были без зубов, все кроме одного, молодого ученика – он всем остальным жевал.

А в третьем месте я видел идола, который весь по самую макушку был погружён в землю, но понемногу сам собой выпрастывался из земли, очень медленно, год за годом, на полвершка в год, выше и выше, так что однажды показались глаза, а затем и нос, и шея; в тот год, когда я его видел, он вылез по грудь. Ему жертвовали очень много, он был весь покрыт свежей кровью и выглядел почти живым – короче говоря, я оттуда быстро ушёл, как сейчас помню. Волхвы с того третища говорили, что когда идол выйдет весь из земли – он подпрыгнет, и в тот же миг весь средний мир лопнет пополам.

Нет, я не боюсь гнева богов. За что им на меня злиться? Кто я такой? Я не князь, не старшина, не ярл, не богач, не вор, не злыдень, я всего только шут.

Я боюсь одного: что мой рассказ не будет интересным.

Если ты перестанешь меня слушать, отвернёшься, начнёшь скучать, зевать и думать о постороннем – это для меня самая страшная беда.

По сравнению с этим – гнев богов ничего не стоит, поверь.

Поэтому мне важно найти правильные слова, самые точные, пусть и не самые красивые. Красивое слово часто обманывает, как обманчива любая красота.

Посмотри на меня, мне сто девятнадцать лет, я отвратительный старик, а когда-то всё было иначе: я тоже был красивым, нравился бабам и не знал у них отказа; но это другой рассказ, а пока слушай первый.

И не мешкай наливать.

И насчёт ночлега для меня не забудь подумать.

2.

Ту девушку звали Марья, и она была младшая дочь кузнеца.

За два года до того я и мой лучший друг, рыжий Кирьяк, брат по крови, ровесник, парень огромной ловкости, объединились в глумецкую ватагу. Мы стучали на бубнах по праздникам и свадьбам, вдоль средней Оки, вплоть до самого Резана.

Но в Резан сунуться и помыслить не могли: ходили слухи, что там всё делено-переделено, и глумецкие оравы в очередь стоят, чтобы в богатых домах петь, плясать и в бубны бить за серебряные деньги.

Мы с рыжим Кирьяком были, конечно, лучшие.

С четырёх лет мы решили, что будем лихими глумами без страха и пристанища.

Мой отец многому меня научил, но я мало помню из его уроков.

Мать про него ничего не рассказывала и, как я понял, всю жизнь на него злилась, чего-то не могла ему простить. Думаю, он прибрёл в их городище, постучал на бубне, спел, сплясал, шуток нашутковал, мёда выпил, да её угостил, а она и влюбись. А он – честный малый – увёз её из родительского дома, таскал какое-то время за собой, то на лодке, то пешком, а ей это было не нужно.

Когда отец погиб, мать осела в Озёрской селитбе, и держала коз, и всё меня, в малые года, склоняла в козопасы, – очень выгодное дело, всегда сыт и согрет, а к вонище можно и привыкнуть. Но я отца вспоминал, его рассказы, уроки: убегал куда подальше, колесом вертелся, палки подкидывал, приговорки приговаривал, – козопасом скучно быть, а глумилой интересно.

А Кирьяк был мой череззаборный сосед; так наша ватажка и образовалась.

С возраста пяти лет мы, вкуче с остальными детьми нашего селища, каждые двадцать дней ходили к ведуну на правку. Нас приматывали крепкими ремнями за руки и за ноги, подвешивали – и растягивали на четыре стороны, подвязывая к ремням камни, в зависимости от возраста – всё более и более тяжкие. Понемногу мои кости и сухожилия обрели такую крепость, что к двенадцати годам я легко выдёргивал с корнем берёзу высотой в два моих роста.

Ведун говорил, что настоящий разум человека заключён отнюдь не в голове, а в костях; там, внутри – тоже есть мозг, и, по словам ведуна, именно этот мозг, костный, и ведёт человека по жизни, подсказывает верные решения, управляет.

Не головой думает человек, учил ведун, но собственными костями.

Мы с Кирьяком, молодые ребята, в ведовские премудрости не вникали. Но нам нравилось быть сильными.

Нет такого мальчишки, который не мечтал бы стать богатырём, наподобие легендарного Святогора.

Ну, а дальше, как ты понимаешь, – глумиле нужен бубен.

Маленький бубен я себе сделал в семь лет, а на настоящий большой – копил все свои молодые годы.

Свой первый большой бубен никогда не забуду. Он ревел, как бог войны. Если я начинал в него бить на закате – к полуночи девки впадали в забытьё. Очень сильный был бубен – я его пробил до дыр за несколько месяцев, однако не жалею.

Конечно, его лучше сделать самому, тут много ума не надо. Добыл шкуру, срезал мездру, просушил, натянул. Бывает, не рассчитаешь, кожа сгниёт. Или плохо натянешь, тогда не будет звука. Много всяких премудростей – но не сложнее, чем смастерить конскую упряжь.

Кожа стоит дорого, поэтому бубен всегда надо беречь, а главное – не показывать посторонним людям, иначе сглазят.

Мастерить бубен следует с чистыми помыслами, как и любой другой предмет, хоть железный меч, хоть лыковый туес.

Главное – подружиться с ним, с бубном, когда он уже готов, понять характер: что он может, а чего не может. Потому что, если заставлять бубен делать то, чего он не умеет, – бубен перестанет тебя понимать и сам собой сгниёт, или, что ещё позорнее, поменяет хозяина. То есть, однажды его у тебя отнимут.

И вот я и друг мой, рыжий Кирьяк, пять лет работали, землю копали, пни корчевали, лыко драли, навоз собирали и лесные камни. И к началу взрослой самостоятельной жизни, к двенадцати годам, накопили себе на сапоги с ремёнными подошвами, на широкие поясные ремни с медными бляхами, на бронзовые ножи – для сохранности жизни, и на большие бубны – для заработка.

В нашей селитьбе, как и везде, половина мальчишек с шести лет училась биться на дубинах и рогатинах, и все мечтали попасть в княжьи воины, и все в двенадцать лет пошли к князю, проситься на службу, но князь из всех парней взял воевать только одного, самого здорового и самого глупого, и тот вернулся через два года без руки да с отрезанными ушами.

Руку, сказал, отдал за князя, а уши – за долги.

Так что мы с Кирьяком, когда решили стать глумилами, много не потеряли.

Да, пока не забыл.

Надо же нам тут отдать честь князьям и вождям, которые вершили судьбы мира в те дремучие времена.

В годы моей юности в землях на заход от Оки правил резанский князь, то ли именем Ренко, сын Дежко, то ли, наоборот, Дежко, сын Ренко. Всех князей невозможно было упоминать. Князья часто менялись. По четыре, по пять раз в год в каждой селитьбе, в каждом городище родовые старшины или волхвы скликали людей, чтоб объявить: там-то и там-то, на восход от Оки, или на заход от Осетра, теперь сидит и сидеть будет князь Хорь, сын Всеслава, или князь Яромир, сын Крука, или ярл Олев, сын Торстейна.

Для простых людей это ничего не меняло. Все князья, вожди и ярлы в середине весны садились в лоды, вместе с воинами, и уходили вниз по рекам, в походы, за добычей и славой, оставив вместо себя злыдней и посадников; возвращались осенью, и далеко не в полном составе; иногда в серебре, иногда пустыми.

В любом случае, большинство из нас жило отдельно от князей, уплачивая малую виру и ничего не требуя взамен.

Бывало, из степи приходили воры-кочевники: скифы, сарматы, пачинаки. Жгли дома, убивали мужчин, угоняли детей и девок. В такие времена князья и ярлы раздавали медь и серебро, и овец из своих стад, и семена из собственных хранилищ, чтобы не угас народ и бабы продолжали рожать детей.

Бывало даже, что князья снаряжали погоню, настигали уходящие воровские шайки и карали, а пленных отбивали и возвращали по домам.

А бывало наоборот: после прихода поганных степняков никакой князь не появлялся, и никто помощи не давал. Общины восставали из праха собственными трудами.

А бывало, что приходил свой же законный князь – и грабил хуже кочевника, отбирал всю медь и всё железо, и все куны.

С другой стороны, если кочевники не набегали по десять лет кряду – возможно, то была заслуга князей, договорившихся со степными пришельцами.

Никогда не поймёшь: воры не приходят, потому что сами не хотят, или потому что князь дал защиту.

Никогда не сообразишь: то ли князь жив благодаря тебе, то ли ты жив благодаря князю. Иногда мы благодарили князей, иногда проклинали.

Но про сильных мира сего думали мало и не каждый день.

В те времена всякая селитьба жила обособленно, своей общинной мыслью и общинным делом: где-то растили клубнику, где-то – яблоки и груши, где-то родился хлеб, а где-то не родился, где-то выделявали меха, где-то били рыбу, где-то разводили птиц, коней и собак.

Помню, важный и знаменитый князь сидел в Коломне, на слиянии двух больших рек; он брал виру с каждого, кто шёл мимо него по той или другой реке. Князя звали Лихарь, по прозвищу «муравейный». Всё мое детство мальчишки забавляли друг друга рассказами о муравейном князе Лихаре. Он мне очень нравился, он был совершенно беспощаден. Непокорных привязывал к коромыслу и опускал, в нагом виде, головой вниз в муравейник, и оставлял, а спустя три дня возвращался, вынимал голый костяк и показывал людям; так за годы своего княжения скормил муравьям, говорят, тысячу человек. Потом сказали, что Лихарь «сидит за столом отцов», то есть погиб во славе, убит с оружием в руке; и вместо него теперь его сын: Сава Лихович.

Уж не знаю, продолжил сын обычай муравейной казни или отменил; я к тому времени сам повзрослел и перестал забавляться кровожадными байками.

В нашей земле в те времена было две дюжины больших городов, и в каждом городе сидел князь, и каждый из князей менялся раз в несколько лет.

Но бывали и такие, кто правил по полвека кряду: некоторых не брали ни болезни, ни старость, ни нож недруга.

В свои двенадцать лет я знал имена и отчества примерно пятидесяти князей, сидевших по берегам семи рек от Серпухова до Можая.

На самом деле их было больше, под три сотни – но я всех не помнил. Это было неинтересно.

Все князья, как один, строили крепости, собирали и выкупали у людей лесные камни, валили и вывозили из лесов саженные брёвна, возводили дома, а вокруг городов – башни и стены; копали рвы, поднимали насыпи; на холмах у речных поворотов рубили остроги и сторожевые вышки. И в спокойные годы любой древодел или каменотёс мог прийти на княжий двор и получить работу с хорошей платой.

Очень любили мы строить, и умели, и сейчас любим и умеем, прекрасное это дело, и от него никому не бывает вреда, одна только польза. И строили в моём народе много, и вся моя жизнь прошла под стук топоров.

Придёшь, бывало, в город, где три года не был, – а там, глядишь, новая башня, или новая стена, свежее дерево издалека сияет, словно золото.

Ещё лучше жилось оружейникам и кузнецам; каждая кузня находилась под особой защитой князя и выполняла только его уроки. Князь давал металл, князь забирал готовые изделия, князь платил щедро и без обмана.

Князь или не князь, а ежели обманешь кузнеца – однажды в бою клинок в твоей руке сломается пополам; не успеешь оглянуться, как сядешь за стол отцов.

Но, повторю, если ты не был ремесленным умельцем, если мирно пахал землю или охотился на зверя – ты легко обходилсЯ без князя.

Можно было, например, промышлять рыболовством на каком-нибудь глухом притоке, всю жизнь тянуть из воды жирных шук, ловить раков по затонам, завести жену, детей и внуков, коня и собак, дом поставить – и никогда не увидеть перед собой никакого князя, и не платить никакой виры.

В некоторых землях, наоборот, хранили особый обычай: княжья стража могла остановить на торной тропе любого бродягу и спросить, знает ли он, кто сидит в этой земле князем? Если бродяга не мог ответить – получал по шее.

Могу сказать одно: город Резан на берегу Оки, между лесом и степью, был тогда главной столицей известной мне части земли, средоточием человеческого могущества, и слава резанских князей гремела всюду.

Резанские князья вели свой род прямо от шуров и пращуров. В резанских князьях текла великанья кровь.

По крайней мере, так говорили.

Однажды древние люди собственноручно собрали из великаньих мослов костяную скамью – и посадили на неё первого резанского князя, именем Акил. Ходили слухи, что костяная скамья имеет высоту в два человеческих роста и вся сплошь обмотана великаньими жилами, склеена великаньей желчью и обмазана великаньей кровью в дюжину слоёв, и вонь от той скамьи такая, что сам князь сидеть на той скамье может только самое малое время, и оттого все собрания и рядилица в доме резанских князей проходят очень быстро, иначе собравшиеся не выдерживают скверного духа и падают замертво.

Проверить такие рассказы я не мог – в Резане не был отродясь, и вообще в дома князей старался не заходить.

Честно признаться, меня никогда не тянуло в ту сторону. Где власть и привилегии – там и без меня тесно.

А я всегда хотел быть сам по себе, ни от кого не зависеть и не угождать никому, кроме красивых женщин.

Главное было – понимать, что сам я никогда не стану князем, даже если очень захочу.

Князь рождается от князя, как медведь от медведя, как рысь от рыси, как пчела от пчелы, как рябина от рябины.

Родился бы девкой – может, чаще думал бы про князей, мечтал бы: вот, однажды приедет, полюбит, посадит на коня и увезёт. Такие случаи известны.

Но я родился глумилой, от отца-глумилы, и не жалею.

На том закончу про князей: в моём рассказе их будет мало.

И тех, кто слагает песни про подвиги князей, всегда достаточно, а ты попробуй сложи песню про простого человека.

3.

Однажды прибегает ко мне Кирьяк и говорит, что нашёл нам богатый урок: идти в Резан и там отбить на бубнах две полных ночи, на Купалу. Причём, как отдельно заметил Кирьяк, люди из Резана просят не просто шайку глумцов, не просто первых попавшихся – а именно нас. То есть, слух про наши шутовские придумки распространился далеко по обеим берегам Оки. И узнать такую новость было очень приятно, у меня даже голова закружилась. Молва пошла – значит, зауважали!

– Молодёжь, – сказал Кирьяк, – соберётся из самого Резана и всех окрестных мест. Будет огромная толпа. Они хотят такое гульбище, чтоб землю насквозь прощекотать – и до смерти запомнить во всех подробностях.

Чем больше он рассказывал, чем решительней крутил ладонями перед моим лицом, тем ясней я понимал: моё время настает.

У меня была мечта: устроить такой огромный праздник, чтобы люди чествовали меня, как героя, и потом помнили сто лет.

Мечта есть у каждого, и моя выглядела так: я делаю знаменитое, из ряда вон выходящее веселье, в сотню костров, в пять тысяч гостей, я сбиваю в кровь пальцы, и кожа моего бубна лопаётся, не выдержав натуги, – но слава о празднике и о тех, кто его устроил, расходится по всему миру, от горячих степей до ледяных равнин.

И я навсегда остаюсь в памяти людей как человек, устроивший лучшее, самое горячее, бешеное гульбище.

Помимо этой, всем понятной, явной мечты, которую я ни от кого не скрывал, имелась у меня в особом месте сердца и другая мечта: заветная. В её честь я принял своё второе, тайное имя. Теперь я его не назову, и про тайную мечту ничего не сообщу; может, позже.

– Но мы не выдержим, – сказал я в тот день Кирьяку. – Две ночи подряд, вдвоём. До Резана пять дней пути. Как мы будем в бубны бить, после пяти дней на вёслах, против течения? Нужен третий.

– Третьего, – ответил мне Кирьяк, – найдём по пути. Некогда думать, ехать надо срочно. Будем медлить – позовут других. Мы не одни такие молодцы, есть и прочие. Слава про нас пошла – хорошо, но не думай, что жар-птицу за хвост держишь.

И мы засобирались в Резан.

Повторю: в те времена это был город городов.

В Резане – грибы с глазами.

Их едят – а они глядят.

С раннего детства я и мои друзья верили, что есть в мире особенное место, средоточие богатства, жестокости и самых постыдных проявлений человеческой природы; ужасная чёрная поляна в чёрном лесу, берег чёрной реки, чёрная крепость, битком набитая ворами, оборотнями, весёлыми девками, серебром, сладким мёдом и жареным мясом. Город, окружённый тыном из костей великанов и морских зверей, а также невероятных чудищ из земель столь отдалённых, что не всякий разум вообразит такое отдаление.

Говорили, что «резан» – от слова «резать»; любого, кто там живёт, хотя бы раз пытались зарезать, или он сам пытался зарезать кого-то. Но те, кто поумнее, поправляли, что слово происходит от обычая резать деньгу: каждую лодку, следующую по Оке мимо Резана, князьи злыдни останавливали и от любой деньги, найденной на лодке, отрубали топором четвертую часть, а иногда и третью: в зависимости от того, насколько богаты были люди в той лодке.

Говорили, что в Резане живёт такое несметное количество людей, что от паров их дыхания над городом всегда висит кислый туман.

Сколько себя помню, от Резана катилась слава, и вся сплошь дурная. Вот отравили пришлового скотогона. Вот задушили в лесу девку, а потом посмотрели – а девка была нетронута; то есть, убили именно чтобы убить, а не для сокрытия известного поступка. Вот проигравшего неудачника раздели донага, и одежды не хватило для уплаты, и тогда его обрили налысо и выдернули ногти, в том числе на ногах, и продали то и другое местным ведьмам, и те дали за ногти серебром – но этого всё равно не хватило для покрытия долга, и тогда несчастного, уже лишённого волос и ногтей, били кнутовищем и продали в рабы.

И мы верили, что на улицах Резана просто так, в грязи, валяется удача, которую не умеют подобрать тамошние ленивые дураки.

Когда Кирьяк сказал «Резан» – я сначала оробел, и дух в горле спёрло.

Не мешкая, мы побежали к рыбакам и забрали самую большую лодку, какую смогли найти. Хозяин лодки ходил на сома, но в это лето сомы вдруг перестали ловиться в нашей части реки, поумнели, наверное, и ушли на другое место, – хозяин лодки был очень рад. Даже засверкал глазами от неожиданной удачи.

Когда я отдал ему полную цену – пять новых собольих кун, – у дядьки задрожали исполованные шрамами ладони.

– Давно хотел её продать, – сказал он. – У меня другая есть, легче. Но эта тоже хорошая, ходкая. Четверых вмещает, и ещё груз. Вы её только носом об камни не бейте.

4.

Перед отъездом пошли в село и купили петуха, затем отправились на требище и пожертвовали Яриле всю петушину кровь и все кости, как полагается. Только клюв Кирьяк выломал ножом и повесил себе на гайтан, в знак того, что рассчитывает на постоянную поддержку горячего света из верхнего мира.

Волхвов не стали звать – сами пришли на требище, сами разделись донага, сами рассекли птице горло, сами облили камни кровью, сами вымазались ею: лица, ладони, грудь и причинное место, и ноги.

Рыжий Кирьяк верил богам, да. А я не слишком верил.

Пока мы творили требу, волхвы стояли позади нас – один старый и двое молодых учеников, тощие, полуголые, сплошь изрезанные ножевыми лезвиями, насквозь пропахшие дымом; молчали, громко сглатывали слюну. У старшего волхва знак Коловрата был вырезан ножом во всю грудь и живот. Ждали, пока мы закончим. Мы ничего не были должны волхвам, и они нам тоже, наша личная договорённость с богом никого не касалась, кроме нас и самого бога. Мы его накормили, мы пролили кровь на его язык – и теперь рассчитывали, что и он, бог света, сделает ради нас что-нибудь столь же важное. Пошлёт три-четыре дня зноя, настоящей летней теплыни.

Когда мы закончили, – волхвы, которым надоело ждать, торопливо обошли нас и забрали с камней требуху: предложили погадать.

Но мы отказались. В гадания только молодые девки верят.

Волхвы ушли, забрав требуху с собой.

Почему мы поднесли жертву именно Яриле – понятно. На гульбищах нужно, чтобы было тепло и ведро. Да и в пути тоже дождь нежелателен.

Кроме того, Кирьяк был рыжий, а все рыжие жертвуют Яриле.

Тем же днём собрались и поехали.

Лодка – долблёная, с насаженными бортами – отлично вместила два наших бубна и два чувала с рухлом. Но, к сожалению, на ходу оказалась тяжела. Мы оба быстро запарились, и за первый день пути прошли только половину того, на что рассчитывали.

Ветра не было, парус не помогал; шли на вёслах, сбили ладони в кровь. Остановились ночевать в Косыре, большой и богатой селитьбе на высоком, заросшем соснами холме, в том месте, где Осётр впадает в Оку, – и там нашли себе в ватагу третьего: местного глумилу по имени Митроха.

Он был старый дед, и сначала мы расстроились. Он был раз в восемь старше против нас, его седая борода, торчащая вперёд, как у козла, была заплетена в четыре косицы, а волосы стояли твёрдым дыбом, и весь он был узкий, мосластый, корюзлый.

Один его глаз смотрел в сторону и вверх. Второй глаз, правда, горел как уголь. А спина была вся в шрамах: видать, часто били.

Конечно, мы заставили его взять бубен и показать умение, – но кривоглазый дед не сплывал. Он знал четыре плясовых боя, и ладонями умел, и колотушкой, и со сменой скорости, и ещё сам подвывал басом. Как только он разогнулся и вошёл в раж – я понял, что наблюдаю настоящего умельца.

Кирьяк, правда, сомневался, выдержит ли наш новый товарищ две ночи работы с полной нагрузкой, – но я решил про это пока не думать.

Мне нравилось, что с нами идёт опытный человек: у опытных всегда есть, чему поучиться.

Даже если половина того, что рассказал нам этот старый Митроха, была выдумана – вторая половина внушала уважение.

Дед говорил, что видел и холодное море, и тёплое, и Белое, и Луковое, и Новгород, и Цесарь-Город, и Резан, и Искоростень, и ещё дюжину дюжин городов и селищ. Земля-то наша громадна, за жизнь не обойти, а он, Митроха, утверждал, что обошёл, и когда я смотрел в его выпцветшие глаза – понимал, что не врёт.

Глумилы никогда не врут, это важно понимать, и ты для себя отложи в разум, что врать в моём ремесле – последнее дело, как дерьмо нюхать, и даже хуже.

Зачем врать, если правда богаче, и ярче, и горячее всякой лжи?

Когда боги создали для людей средний мир, они всё делали по правде, и как они придумали и сочинили – так человек придумать и сочинить не может, хоть весь изовришься.

Вы уж мне поверьте. Я прожил сто девятнадцать лет, и для меня врать – всё равно что ковыряться в зубах, которых давно нет.

Утром, когда кривоглазый Митроха пришёл на берег, со своим рухлом, – мы увидели, что рухла у него – малая котомка. В три раза меньше, чем у нас.

Зато пояс Митрохи был украшен спереди двумя медными бляхами в виде медвежьих морд, такими искусными, что в иных местах за каждую такую бляху можно было в те времена легко лишиться головы.

Вот одна из тех его медных блях: на́, смотри.

Видишь медведя? Вот уши, а вот пасть с зубами. Попробуй скажи, что непохоже.

Эта бляха со мной почти сто лет, я не продаю её и не меняю.

Если хороший кузнец раскуёт эту бляху, можно сделать нож длиною в половину локтя. Сколько стоит такой нож – думай сам. В мои молодые годы медные ножи и бляхи шли по весу денег: четыре деньги нельзя сковать в нож, а шесть уже можно.

Так мы продолжили путь втроём: я, Кирьяк и Митроха, двое молодых и один немолодой. Три наших бубна, надёжно укрытые, лежали поперёк лодки. Двое сидели на вёслах, третий – на кормиле; потом менялись. Дед Митроха правил ловко, лучше нас, точно мимо стремени, и когда он сидел на кормиле, грести было легче. Когда править садился Кирьяк – лодка шла тяжелее. Когда я сам сменял Кирьяка и садился за кормило, я понимал, что кормчий из меня такой же плохой, как из моего рыжего друга. Мне быстро надоедало сжимать под локтем деревянный дрын, и я начинал что-то сочинять, глуму или песню.

А ночью мы двое, молодые, лежали без сна, глядя в звёздное небо, задыхаясь от счастья – так хорошо было нам жить на белом свете, так больно кололи глаза небесные огни в чёрном днище верхнего мира. Так горько пахло цветами и тёплой водой. Так завораживали мечты о будущем.

А Митроха, немолодой, спал, отвернувшись от неба, спрятав лицо под локоть – человек другого времени. И при свете луны были хорошо видны длинные шрамы на его мосластой спине.

Конечно, нас часто бьют. А пробуют – ещё чаще.

Бьют, потому что мы везде чужие, пришлые. Бьют, потому что со стороны кажется: наша глумецкая дорожка весёлая и лёгкая.

Ещё бьют, полагая нас ведьмаками, колдунами, мастерами навести порчу; что отчасти правда.

Глумец что кузнец, якшается с нечистью, в селищах не ночует, не столуется. Так люди говорят.

Но меня, например, побить нелегко. Я с детства ловкий, а как перешёл в отроческие годы – нагулял плечевую крепость. Моего товарища Кирьяка и вовсе нельзя одолеть иначе, как втроём, или если – с оружием. Кирьяк прыгучий и гибкий – едва размахнёшься, а он уже у тебя за спиной.

Но бывает, что и вдвоём мы не могли отбиться, если наседают семеро; бывало, что попадало нам сильно, да.

Нас бьют за самые наши глумы, за острый язык, за шутки.

В нынешние годы распространились разные шуты, кто на что горазд; понятно, что я в этом уже мало разбираюсь. Есть такие, что вроде шуты, а на самом деле умнее умного. Есть, кто учит разным языкам. Есть, кто режет по мягкому дереву и по вошаницам искусные мелкие руны, образующие правильные ставы. И даже есть умельцы, которые по сходной цене вырежут нужный знак прямо на тебе самом, на твоей шкуре, на лбу или на щеке – и за несколько раз создадут толстый шрам, а потом внутри и снаружи этого шрама натолкают тонкой иглой краску, которая остаётся пожизненно.

Вот до каких пределов сложности додумался человек в наши сложные, но совершенно бесчувственные времена.

А тогда, при моих молодых летах, люди в повседневной жизни стояли гораздо ближе к смерти, чем сейчас, и время иначе проходило через их сознание. У них в распоряжении имелось меньше лет и дней, чем у нас, их правнуков, и они видели мир ярче, траву зеленей, а их женщины и мёд были слаще. Развлечения были проще, грубей. Но и честней.

Всего было меньше. Штанов, ножей, еды, здоровья. Но в скудости есть острота ощущения.

Большие бубны теперь вышли из спроса. Что и говорить: человечество сильно поумнело за то время, как я являюсь его живой частью. Мой младший правнук ещё не отрастил усов, а уже знает наизусть и глумы, и песни, и ещё множество разного трёпа, и бубнов у него два, и ни на одном он толком стучать не умеет, и ничуть от этого не страдает. И как он, мой правнук, и ему подобные сейчас развлекаются – я не понимаю.

5.

На пятое утро, уже вблизи Резана, мы услышали истошные вопли: на берегу мужики били дубинами пойманную мавку.

Она визжала, извивалась, молотила радужным хвостом и всё норовила уползти к воде; её молча тащили назад за зелёные волосы – и продолжали: деловито, без спешки, без злобы. Красные от натуги лица мужиков не выражали ничего, кроме усталости: по жаре дубиной особо не помашешь.

Били по всем правилам, на месте поимки, всемером на одну; до нас доносился хруст ломаемых костей.

Мавок, кикимор, шишиг и прочую нежить нельзя умертвить, – они и так не живые и не мёртвые; но всегда можно измолотить, костяк порушить, свернуть шею, связать и вырезать на спинах и грудях руны смерти. Если действовать по правилам, то побитая мавка навсегда уходит из мест поимки, и за ней – все её подруги. Так что мужики с дрекольем, разбивая дубины о мокрое тело водяной женщины, делали полезное и важное дело, но всё равно – видеть мучения зелёной твари и слышать её отчаянный визг было нелегко, и мы налегли на вёсла.

– Дурной знак, – сказал я, оглянувшись на Кирияка.

– Наоборот, – сказал дед Митроха. – Добрый. Бьют – значит, любят. Нас тут полюбят, в общем. Всё будет хорошо.

И мы, все трое, не сговариваясь, на короткое время бросили вёсла, подняли левые руки к лицам и троекратным движением больших пальцев отогнали возможную неудачу.

Мужики на берегу заметили нас, но дела своего не прекратили, и мы тоже – сделали вид, что не увидели ничего особенного. Когда бьют нежить – в этом нет никакой потехи, одна только печальная необходимость. Если не бить – нежить смелеет, селится ближе и ближе к людям, ворует сначала скотину, а потом и детей, и бывали случаи, когда целые богатые и многолюдные селитбы целиком вымирали от нашествия; страшное дело.

К нашему счастью, поднялся ветер и отнёс крики побиваемой мавки в сторону.

Прежде чем зайти в город, нам следовало отыскать место и надёжно спрятать рухляк, а главное – наши бубны. Мы, скоморохи, вообще не заходим в города и селитбы, а свои стоянки устраиваем в безопасных окрестностях. Это важная мера предосторожности. И это объяснимо, в этом есть лад и ряд. Во-первых, большинство простолюдинов полагают, что мы водимся с колдунами, ведунами и нежитью. И, следовательно, пускать нас в дома и во дворы – нельзя.

Не то, чтоб мы дружили с нежитью – но мы её не боимся, поскольку много странствуем, и, значит, много видим из того, что простой человек не видит. В том числе и нежить встречаем нередко. Я, например, змеев много раз видел. Чаще – дохлых, но несколько раз и живых, и даже кладки их яиц трогал своими руками. Но это к моему рассказу не относится – может, расскажу в другую ночь.

Во-вторых, и в-главных: люди думают, что скоморошья котомки набиты серебром, и если ограбить скомороха – можно хорошо поживиться. Большой глумецкий бубен стоит примерно двадцать кун – чем не барыш? Вот почему глумцы везде ведут себя осторожно, и свои большие бубны выносят к людям только во время гульбища, а в прочее время прячут надёжно.

Так и мы спрятали.

Не дойдя до посада две версты, сошли на берег, нашли сухую поляну и отправились разведать место.

Тропа вела вдоль берега, затем упиралась в большую старую засеку: многие сотни стволов лежали крест-накрест, сплетаясь старыми, сгнившими, затканными паутиной ветвями; всюду ползали гадюки. Засеку устроили, наверное, лет двести назад, она давно утратила значение: тропа свернула в сторону, посуху огибая непролаз, и вывела к широкому расчищенному проходу, за которым в полуденном знойном воздухе колебались дымы многих десятков домашних очагов: тут начинался город.

Не заходя в улицу, мы развернулись и пошли обратно. Путь к цели был разведан, теперь следовало устроить стоянку.

Мы развели костёр, собрали шалаш. Кирьяк обошёл поляну по кругу и на стволах четырёх высоких берёз вырезал ножом обереги: на восход вырезал Силу, на заход вырезал Алатырь, на юг и на север вырезал Уды. И ещё потом помочился под каждую берёзу. Защитив, таким образом, наше место от обид его бывших хозяев, зверей. Рысь тут жила, или росомаха, или кабан, или лось – всем им теперь пришлось потесниться, уйти на время; теперь каждую ночь они будут приходить и смотреть из чащобы на наш костёр: ждать, пока мы уйдём.

Митроха первым вызвался сторожить стоянку. Мы с Кирьяком не возражали, тут же повалились и заснули, так же, как заснул бы любой, кто пять дней прошёл вёслами на тяжёлой лодке против течения.

И это была первая ночь моей новой жизни.

Потому что на завтра я встретил ту девушку.

Утром я долго плавал в тёплой рясной воде, чтоб хоть немного растратить накопившуюся за время сна молодую силу; потом Кирьяк остался стеречь стоянку, а мы с дедом пошли в город.

Митроха заново заплёл в косицы свою бородёнку, выворачивая кривой глаз, и мне велел тщательно намочить и расчесать волосы.

До засеки – и на юг от берега, через проход в начало города, в посад.

Потянулись жёлтые песчаные отлоги, и мостки, и вытащенные на берег лодки; снасти сушатся, бабы выполаскивают крашеное рядом, в садках шуки и налимы хвостами молотят, над воротами – кабаньи черепа. Старики плетут сети. Малые ребята на волокуше лесной валун тащат – на продажу (я увидел и засмеялся, я сам так делал много лет). Козы орут, собаки брешут. И так – две версты.

Полдень – самое время, вернувшись с рыбалки, пожарить на углях целую щуку или осетра, и накормить досыта жену, детей и стариков, и самому насытиться, и ещё оставить кошкам.

Возле каждого дома у двери были вывешены на продажу или обмен крючки из рыбьих костей, мотки корневищ и лыковых верёвок: здесь, как и всюду по берегам великой реки, старики ещё умели изготавливать сети и садки из корневищ, как делали тысячу лет назад их древние потомки, современники великанов.

Во многих местах мы слышали пение, повсюду блеяли козлята, повсюду стучали киянки и топоры: отцы семейств поправляли стены домов, борта лодок, изгороди.

Если бы мне сказали, что я шагаю по центру города, – я бы легко поверил; но то был не город, а лишь его дальняя окраина.

Так мы добрались до главных ворот.

Дорога пошла в холм, и в конце того холма я увидел – впервые в жизни – башню, высотой до облаков, сложенную из брёвен в четыре обхвата. Едва язык не проглотил.

А когда рассмотрел висящий над воротами змеиный череп, размером с телёнка, с зубами в три ряда – на самом деле проглотил, и задохнулся бы, если б дед Митроха не ударил меня кулаком по загривку.

– Не зевай, дурень, – тихо сказал он. – Я здесь уже бывал. Молчи и держись подле.

У ворот нельзя было протолкаться, кроме как грубостью. Никакого порядка не было; ожидающие очереди сбились в одну горячую толпу, дышащую луком и бестолковой удачью. Все обменивались азартными возгласами, наблюдая, как того или другого счастливец запускают внутрь. Охрана выбирала произвольно, тыкая пальцем то в сармата в ушастом кожаном шлеме, то в купчишку, нагруженного конопляным вервием.

Когда проезжали верховые, перед ними расступались, но и они у ворот спешили и через ворота проходили пешком, ведя коня в поводу.

Земля, вытоптанная долыса, закиданная ореховой скорлупой, плевыми и высморканными соплями, скверно пахла. И вся заполненная людьми дорога до городских ворот показалась мне грязной и смрадной, словно каждый гость Резана спешил перед входом очиститься, сбросить с себя всё лишнее, самое стыдное и срамное, чтоб внутри городских стен предстать обновлённым, свежим.

Каждый четвёртый в толпе был нищий бродяга в одних портах, трясущийся от недоедания и болезней, пришедший от отчаяния, от невыносимого желания прожить на белом свете ещё полгода или год. Здесь были люди, никогда не стригшие бороды и волос, и люди, сошедшие с ума, и люди, изгнанные из своих общин и пришедшие просить правды у князя, и люди вроде меня – бродяги и шатуны лёгкого нрава, и люди, явившиеся с тайными посланиями из дальних углов земли, и люди, желающие продаться в рабы.

Здесь были несколько воров всех мастей, несколько убийц, несколько ловкачей, добывавших хлеб игрой в зернь, и несколько раскрашенных доступных девок.

Через это человеческое варево Митроха провёл меня, раздвигая всех плечом, молча, быстро и решительно, как будто мы с ним, двое в цветастых рубахах и широких кожаных поясах, были тут самые деловые, как будто нам было кровь из носу необходимо попасть в город как можно быстрее.

Охране в воротах Митроха сообщил, что мы ищем Велибора.

Охрана, вооружённая огромными сажалами длиной в руку, велела нам ждать: Велибору, мол, скажут, и он сам к нам выйдет.

И не видать бы мне города Резана, если б Митроха, опытный человек, не вынул полкуны лысых и не сунул стражу в жадную ладонь.

Нас пропустили за ворота.

Дальше со мной случилось то, что случается с любым молодым дураком, впервые попавшим в центр мира. Я оглох, ослеп, ноги мои подогнулись от страха – сил хватало только на то, чтобы сжимать пальцами плечо Митрохи, который шагал впереди, безошибочно – даром что кривоглазый – прокладывая дорогу в безумной людской каше.

Улица, замощённая полубрёвнами, гремела голосами. Повсюду висел дым, пахнувший жареным мясом и жареной рыбой, закваской, солодом, чесноком, горящим жиром, новыми кожами; бранились мальчишки, собирающие навоз; через каждые пятьдесят шагов, вдоль стен, стояли бочки с водой, на случай пожара; бабы в богатых душегрейках грызли яблоки и пересмеивались; пришлые степняки-сарматы, трое, бритоголовые и кривоногие, хохотали, показывая друг другу пальцем на крытые дёрном крыши домов, и страшно воняли конской мочой; медленно проехал на огромном вороном мерине широкоплечий человек в горностаевом воротнике, с сажалом в наборных ножнах, с серебряной гривной на дочерна загорелой шее: княжий злыдень.

Четверо мужиков пронесли огромный сундук, а вела их заплаканная девка в серебряных ожерельях: видать, жена сбежала от мужа.

А за ней шли целой ватагой птицеловы, с мрачными, неприятными рожами, и у каждого в клетке стрескивали крыльями и голуби, и синицы, и сороки, а у одного даже ворон сидел, чёрный как уголь, и я, увидев этого ворона, поспешил отвернуться и зажмурить глаза несколько раз подряд, чтобы забыть, как будто увиденного и не было.

В моей селитбе воронов не ловили. Ловить ворона – всё равно что ловить волка или медведя. Нехорошо, неправильно.

Когда увидел этого ворона – понял, что про Резан говорили верно: это действительно чёрная поляна в чёрном лесу, опасное гнездо, где люди живут – и ни во что не верят.

Но, конечно, эта толпа, суета, этот размах, эти дубовые, сплошь покрытые резьбой двери с тяжёлыми засовами, на толстых, обмазанных жиром кожаных петлях, этот скрип твёрдого дерева под ногами, этот смех, эти раскрашенные девки – всё казалось мне сладкой песней моей великой славы.

Митроха дёрнул меня за рукав, мы свернули резко, как будто убегали, и зашли за скрипучую калитку, и там ухмыльчивая рябая баба – кабатчица – налила нам по кружке крепкой браги и насыпала каждому жменю жареных тыквенных семечек, и мы что-то опять заплатили, но платил Митроха; я, как и было сказано, только рот разевал во все стороны, олух олухом.

Брагашибанула в нос, я тут же окосел.

Потом прошли через площадь, перед княжым двором; оттуда в одну сторону вела дорога в торговый ряд, а в другую сторону – на требище, а на распутье стояла богатая меняльная лавка, где за три лысых куны можно было получить новую, а если зазеваешься – ничего не получить, кроме как по шее; тут же скучал стражник, поигрывая булавой и заглядываясь на богатую, в жемчугах, бабу, азартно бранившую менялу за лукавство. Подле лавки высилась огромная гора лесного камня. По древнему обычаю, в любой город можно было принести лесной камень и обменять его возле княжых ворот на яичко или чашку мёда.

А прямо напротив лавки отыскался дом Велибора.

Возле Велиборовой двери сидел на толстом ремне пёс размером с телёнка, так что в дом мы не пошли, а встали поодаль, решили дожидаться, пока кто-нибудь не выйдет.

Вышел, по счастью, сам Велибор, оказавшийся мальчиком лет десяти от силы, румяным, красивым и вежливым.

После первых слов стало ясно, что этот красивый маленький Велибор, сын местного вельможи, впервые в жизни устраивает для себя и друзей большое гульбище, и никакого опыта у него нет. И он очень боится опозориться, и готов платить серебром, лишь бы праздник получился.

А про нас он услышал от друзей из Серпухова, – дошли слухи, что есть новые интересные ребята, неутомимые, и берут недорого.

У старого Митрохи, когда он это услышал, косой глаз загорелся огнём. Да и я тоже сообразил: в руки идёт большая выгода. Но у меня хватило ума не подать виду и помалкивать: я уже понял, что Митроха хорошо соображает в глумецком деле и ему можно доверить любой торг.

А он – преобразился, спину сгорбил, мохнатые брови сдвинул, улыбался мальчишке, как родимому сыночку, слова выговаривал ласково, кивал мелко, ноздри раздувал, и когда объявлял цену – пальцами себе помогал, как будто с глухим имел дело. Честное слово, даже запах, идущий от старого хитрюги, стал слаще. Поистине, ничем невозможно заменить опыт, накопленный трудной жизнью.

Если бы я тогда рядился вместо Митрохи – я бы не выторговал и четверти того, что мы получили.

На голубом глазу Митроха назначил в оплату по два туеса ягод, по караваю хлеба, по половинке курицы, по жбану мёда, по жбану браги – на каждого из троих, не считая основного – по три дюжины новых кун каждому, из них половина вперёд, либо ту же цену медными деньгами, из расчёта дюжина кун к одной деньге, либо серебром, из расчёта две дюжины кун к одной деньге, итого – четыре с половиной серебряных деньги; половину вперёд задатком, из того задатка одну деньгу располовинить, и полденьги отдать новыми кунами.

Чтобы вы понимали: три дюжины новых кун хватило бы мне на целую долгополую шубу, век носить – не сносить.

А серебряных денег я в те свои юные годы вообще в глаза не видел, даже издалека.

А тут, значит, мальчик Велибор в собольем воротничке убегает к себе в дом и через некоторое время возвращается и не моргнув глазом вручает нам одну целую серебряную деньгу, и одну половину деньги, и ещё стопку новых кун.

Полный задаток.

Ударили по рукам, поклонились земно – и расстались.

Дед Митроха проворно переметал куны в пальцах и затолкал себе за пазуху, а деньгу отдал мне, и я сунул её за щеку: надёжней места нет.

А пустой кошель Митроха повесил на пояс, чтоб, значит, лихой вор, если глаз положит, – стащил бы пустой кошель, а не саму ценность.

И так мы проделали обратный путь, через площадь, мимо кружала, мимо бочек с водой, мимо смеющихся девок – пока не выбрались за ворота.

Я всё перекатывал во рту холодное кислое серебро, не веря, что мечта моя рядом.

А когда выбрались, первая моя мысль была – бежать как можно быстрее, никаких гульбищ не устраивать, про богатого мальчика Велибора забыть, а его серебро потратить.

Так нас искушают боги нижнего, тёмного мира, склоняя к предательству.

К полудню мы вернулись в стан, а там Кирыак уже вконец изныл от скуки и неизвестности. Но когда увидел серебро – примолк.

Старый Митроха попросил меня отдать серебряную деньгу, положил на свою коричневую ладонь и поднёс к моему лицу, а потом к лицу Кирыака, и сказал:

– Хотите – забирайте. Мальчишку богатого обманем, ничего делать не будем. Я вернусь домой, а вы – идите в город. Тебя, – сказал он Кирыаку, – никто не видел. А тебя, – сказал он мне, – видел только Велибор, да и тот не запомнил, потому что говорил с ним я, а ты сбоку стоял. Берите деньгу, идите в Рязань. Я вас научу, где переночевать, где пожрать и выпить. Деньга серебра – нормально для молодого парня, для начала. Обживётесь – разберётесь. Может, станете личными князьими шутами, или женитесь на дочках ярлов, или прикормитесь при каком-нибудь кружале – в общем, найдёте дело. Решайтесь, парни, – сказал нам дед Митроха. – Идите и покорите этот город.

Мы с Кирьяком, внимательно выслушав сказанное, переглянулись, и Кирьяк ответил, за нас обоих:

– Нет, старик. Мы сделаем то, зачем нас позвали. Мы устроим гульбище и будем бить в бубны.

А я добавил, тоже – от нас обоих:

– Нам мало серебра. Нам нужна ещё слава.

И кривоглазый Митроха вдруг как-то ссутулился, кивнул, рукой махнул, слезящиеся зенки отвернул, как будто ему сказали какую-то прямую правду.

И мы оставили его у костра, доваривать уху, а сами пошли поглядеть, что в округе творится.

Выбрали тропу не вдоль берега, а поперёк, дальше в лес, и не прошли и ста шагов, как лес кончился, и начался овраг, заросший лопухами, а по нему бежал звонкий прохладный ручей, а в стороне от оврага стояла кузня, и дом кузнеца, не защищённый, как вы понимаете, ни тыном, ни даже малой изгородью. Потому как без надобности: никакой живой человек по доброй воле в дом кузнеца не сунется.

Лишь висела, на вбитом в землю осиновом шесте, дощечка с руной опоры: свидетельством того, что живущие тут люди признают княжью власть, платят виру и находятся под полной защитой.

И девка шла с корзиной постиранного тряпья, вниз по ручью, к реке.

Догнали, позвали, обернулась – и я пропал.

Таких зелёных, внимательных глаз никогда не видел.

И не сказать, чтоб красивая. Совсем маленькая, мне по грудь. И с виду совсем слабосильная, дунь – и улетит; непонятно, как тащила корзину. Но, когда близко подошли, – рассмотрел: нет, не слабосильная. Плечи круглые, хорошего разворота, и нигде ни одной косточки не торчит, всё налитое.

Сказала, что звать её Марья, и что она младшая дочь кузнеца Радима.

А когда услышала, что мы скоморохи, приехали делать гульбище, – засияла, ахнула, подхватила вместе с корзиной и убежала назад, к дому. А мы с Кирьяком переглянулись.

С одной стороны, приятно, когда твоему приходу рады. С другой стороны – обидно; толком и не поговорили.

– Младшая, – прошептал Кирьяк. – Значит, есть и старшая!

И вздохнул мечтательно.

А из ворот хозяйства уже выходил сам кузнец, никак не походивший на свою дочь Марью.

Наверное, когда-то и он был красив и прям спиной, а теперь на чёрном, многожды обожжённом лице не росли ни брови, ни ресницы, ни борода. Подошёл, рассмотрел сверху вниз: громадный, весь как бы в узлы завязанный, и пахло от него железными запахами.

Мы поклонились, говорить ничего не стали – неизвестно, насколько он был глухой. Судя по возрасту – полностью.

По нашим рубашам и поясам кузнец понял, кто мы таковы, и спросил, словно лезвием по камню провёл:

– Чего хотите?

– Ничего! – крикнул я. – Мимо шли!

Мы опять поклонились и убрались прочь.

Но только для того, чтоб обойти дом кузнеца с другой стороны: залезли на сосну, подсаживая друг друга, пачкая ладони в прозрачной душистой смоле; нашли удобный сук и стали подглядывать.

И увидели: дочерей у кузнеца было три. Все хлопотали по хозяйству. Одна повыше, пошире, с такими сдобными грудями, что Кирьяк застонал и сверзился бы с дерева, если б я его не поддержал за локоть, – сначала полола морковные грядки, потом села плести сыромя-

тину. Вторая – потоньше, посуше станом, всё сновала из дома и в дом: то подушки вынесет прожаривать на солнце, то половики трясти, то золу из очага в корыто отсыпет, и по её излишне порывистым движениям было видно, что работа ей смерть как надоела и на уме у неё совсем другие занятия.

А младшая, которая Марья, сидела под навесом возле малого костерка, отгоняющего комаров, и шила что-то, поглядывая изредка на сестёр и не вступая с ними в беседы.

Старшие молчали, а Марья что-то пела, но ветер уносил её голос.

Их матери мы не увидели: за всё время, пока присидели на сосне, ни одна взрослая женщина не вышла из дома и не вошла в него. И я сообразил, что матери у них нет. Померла, или муж выгнал.

Глядя на спорый труд трёх девок, я подумал: как хорошо, что не снискал я ни дома, ни семьи, ни хозяйства, и нет у меня ни рожна, кроме старых портов, дырявых сапог да собственных имён. Как бы я управлялся с этими сараями, погребами, грядками? Чем бы я кормил своих деток, если ничего не умею, кроме как бить в бубен и слагать срамные прибаутки?

Родился бы кожевником, или, вон, кузнецом, или плотником, рыбаком, птицеловом, солеваром, смолокуром, или хоть шерстобитом. Или, лучше – ведуном, травником, знахарем. Или – воином, княжым мечником, злыднем, катом. Или – самим князем, которого если увидишь – потом три года не умеешь забыть. Или волхвом, чующим бурю и грозу за сто вёрст.

Но я родился глумилой, и никогда у меня не будет ни дома, ни достатка, ни собственного курятника.

Эх, знали бы вы, как хочется иногда иметь дом, и свою жену, и свой курятник! Такая тоска накатывает. Всю жизнь прожить на своей земле, среди своей родни, в своём доме.

Но дорога моя другая, и я иду по ней горлом вперёд.

И нет у меня ни корыта, ни дома, и куда бы я ни явился – я везде чужой, посторонний.

В общем, я тогда, в тот миг, перегнулся, сидя на суку, снова взял друга своего Кирьяка за локоть и сказал:

– Пойдём-ка, брат, отсюда.

Выругался грубо и полез вниз. А Кирьяк полез следом за мной, потому что всё понял. Он, понятно, пребывал в тех же чувствах и с теми же мыслями.

Потому что если тебя накрывает тоска – унять её можно только чем-то грубым и жестоким. Хотя бы словом.

Печаль-тоску перебарывает только грубость и жестокосердие, иначе никак.

Когда тоска подступает, отогнать её можно только через звериное рычание, через гнев на самого себя.

Оттого мы здесь, по берегам Оки, часто бываем на вид угрюмы.

Мы спустились с дерева, стараясь не шуметь, отряхнули с волос колючие сухие иголки, подсымкнули порты – и пошли восвояси, не обменявшись ни единым словом и даже не посмотрев друг на друга; и так всё было понятно. У кузнецовых дочерей была своя планида, у нас – своя. А тоску можно заесть, или запить, а лучше – и то и другое.

Краем оврага, через прохладные заросли лопухов, мы вернулись к стану, умылись, тщательно обтёрли от грязи руки и сели есть.

Очень хотелось хлеба – но хлеба мы в те поры ели мало.

Зато нас выручал котёл.

Старый Митроха сварил уху на карасях и ротанах.

Увидев нас, он снял с огня котёл с ухой, поставил перед нами в траву, сам же улёгся у огня, завернулся в полость и заснул, не произнеся при этом ни единого слова.

Мы достали ложки и принялись за славное дело.

Через год после того, как мы с Кирьяком сбились в глумецкую ватагу и стали ходить по людям, мы завели один на двоих котёл. В те отдалённые времена котёл – это была вещь большой ценности. Хлёбово от вываренного мяса, рыбы, грибов и кореньев можно было есть по три дня подряд. Кто имел котёл – тот всегда был сыт, и кожа его блестела, и волосы. Я не помню, сколько мы отдали за тот прекрасный котёл. Больше ста лет прошло. То ли тридцать, то ли пятьдесят новых кун. Помню, он был скован из шести медных пластин, и размер его был такой, чтоб сварить заячью голову. Помню, что Кирьяк не имел бережливости и не раз ронял наш котёл, в том числе на камни, и в одном месте котёл разошёлся и чуть протекал, и когда висел над костром – капли жира падали в огонь, и тогда вокруг поднимался такой запах, что из леса выходили рыси и росомахи, садились поодаль, рычали и блестели глазами от зависти.

Соли в то время у нас тоже не было; пробавлялись луком, щавелем и папоротником.

Сейчас у вас тут и чугуны с крышками, и ножи в каждом доме, и соль, и хлеб всякий, и бронзовые светильники на столах, и серебряные кольца на пальцах, и яйца с двумя желтками.

Но тогда всё иначе было.

Придёшь в селитьбу – а там один на всех нож висит на столбе при входе на требище, и местный волхв одним глазом глядит в себя, вторым на тебя, третьим – в чужой мир, а четвёртым, который на затылке, – наблюдает за ножом, чтоб не упёрли.

Вот так мы жили.

Так что рыбное хлёбово из того котла нас потом два дня выручало.

Я ел, едва не пронося ложку мимо рта: всё не мог забыть внимательные зелёные глаза кузнецовой младшей дочери – как они загорелись, когда она поняла, кто мы такие и зачем пришли.

Когда видишь радость на лице человека – понимаешь, зачем живёшь.

Кирьяк доел, облизал ложку и вдруг хлопнул меня по плечу.

– Великанья кровь, – сказал он. – В этих девках – великанья кровь.

Я подумал и кивнул. Друг был прав. Яркие глаза, прямой взгляд, широкая смелая улыбка. Ни страха, ни смущения, ни настороженности. И кузнец был такой же, хоть и глухой, хоть и прокопчённый весь.

6.

История нашего – среднего – мира началась с освобождения земли.

То, что не свободно, вообще не может иметь своей истории.

Чтобы что-то началось, следует что-то освободить.

Вызволить.

Итак, в начале начал земля принадлежала нижнему миру и его богам, и в земле, не знавшей ни тепла, ни света, ледяной и твёрдой, обитали только безглазые черви.

Боги верхнего мира и боги нижнего мира вообще не знали о существовании друг друга: их разделял бесконечный великий лёд.

Под гнётом великого льда земля изнывала во тьме, и ничего не происходило.

Но затем боги верхнего мира решили, что так дальше не может продолжаться.

Боги тепла, света и ветра призвали Ярило, огненное колесо, источник жизни, – и насадили его на мировую ось.

Колесо закрутилось, жар Ярила растопил лёд.

Это продолжалось тысячи лет.

Понемногу, пядь за пядью, лёд отступал, оставляя за собой бескрайние пространства, залитые водой.

Тогда верхние боги и нижние боги впервые встретились, чтобы поделить созданный ими новый мир: средний.

Тот, в котором мы теперь живём.

И вот, освободившись от давления великого льда, земля начала подниматься, распрямлять спину.

Вызволение земли, распрямление кривизны – тоже заняло тысячу лет.

Наконец, вода осталась лишь в морях и озёрах. И чем выше поднималась спина земли, тем меньше озёр и морей оставалось на её поверхности.

Итак, каждый человек должен знать, что земля под ним есть распрямлённая, освободившаяся сущность.

Свобода исходит от земли так же, как свет исходит с неба, как запах исходит от зверя: естественным образом.

Из этой новой, свежей сущности, из восставшей свободной земли боги вылепили своих земляных детей: человеческий род.

То были не мы, люди – но наши пращуры. Мы называем их – «древние». Или «старые люди». Или «род великанов».

Их нельзя путать с нами: новыми, слабыми людьми.

Древние отличались от нас так же, как каменный нож отличается от железного меча, выкованного умелым кузнецом.

Древних было меньше, чем нас, и они хотели жить больше, чем мы.

Чтоб не делать лишней работы, боги создали сразу людей, зверей, птиц и прочих тварей, а потом влили в них одновременно свою кровь, одну на всех.

Поэтому люди похожи на зверей и птиц: кровь одинаковая.

По той же причине люди похожи на богов.

Сквозь весь живой мир течёт единая кровь, одна на всех; живых и мёртвых, разумных и неразумных связывает крепче крепкого.

Потом люди долгое время жили в голоде и страхе. Землю, едва восставшую ото льда, населили огромные полчища великанов, или великих кабанов: могущественных тварей, покрытых непробиваемыми мохнатыми шкурами, каждый высотой в дюжину сажений, и у каждого – четыре ноги и одна длинная рука, торчащая из носа, а по бокам – два бивня.

Когда великан кричал – гнулись деревья.

Когда великан бежал – земля тряслась так, что люди падали.

Когда бежало стадо великанов – весь мир ходил ходуном.

Великаны правили всюду. Неисчислимые их стада бродили по синим стылым равнинам, пожирая любую растительность, от верхушек елей до болотных мхов.

Они владели средним миром, огромные и всеильные.

Каждый из них мог одним ударом превратить человека в кровавую лужу.

Они пожирали всё, что давала скупая холодная земля: все листья, и ягоды, и грибы, и пчелиные гнёзда, и траву, и папоротники, и шиповник, и яблоки, вместе с яблонями.

И людям пришлось научиться убивать великанов: иначе нельзя было выжить.

Люди поедали их мясо, использовали их кости, бивни, черепа, жилы, шкуры, и мездру, и кровь, и кишки, и всё прочее, до последнего волоса на хвосте.

Они ели всё: и роговицу, и мозговое вещество, а что нельзя было съесть – приспособили.

Чтобы убить одного взрослого великана, требовались усилия трёх дюжин взрослых охотников.

Так выжили древние, наши шуры и пращуры: они сбились в племена, в огромные ватаги числом в сотни мужчин и женщин.

Стариков в том мире вообще не существовало.

Древний не доживал до тридцати.

Древний начинал спариваться с десяти лет, и брал в жёны любую женщину, которую видел возле себя.

Древняя женщина рожала первого ребёнка в одиннадцать, и потом – каждый год, всего за жизнь давала от пятнадцати до двадцати детей потомства; выживал один или двое.

Древние хорошо понимали, что чем больше племя – тем легче выжить.

Древние научились создавать тысячные племена, народы, где огромные хозяйства были налажены до мелочей. Сотни баб жгли костры и собирали коренья, сотни детей обучались знаниям, сотни мужчин расходились каждое утро во все стороны, чтобы бить птицу и зверя, чтобы найти еду, чтобы жить дальше.

Тысячу лет наши шуры и пращуры, древние люди, питались мясом и молоком великанов.

Меж тем земля нагревалась, и всё больше цветов цвело, и больше плодов стала давать почва. Люди стали сильнее, умнее, они собирали ягоды и коренья гораздо быстрее, чем великаны.

Древние ели всё, что существовало вокруг них. В первую очередь любые зелёные листья. Берёзу, дуб. Рябину. Папоротник.

Древние ели орехи, и ягоды, и коренья: лук, морковь.

Там, куда приходили древние люди, наши пращуры, – великанам было нечего делать.

И великаны отступили: их стада стали уходить на север. Народ их ослабел и исшаял.

Там, на далёком севере, они и живут до сих пор, малочисленные. Живых давно уже никто не видел, а вот черепа, выбеленные ветрами, с громадными, в четыре косых сажени, кривыми бивнями, можно еще встретить в некоторых селитьбах.

Боги постепенно стирают род великанов с лица земли; как стёрли земляных червей и змеев, которые жили до великанов, в предыдущие времена, нами совсем забытые.

Победив великанов, люди получили в полное пользование весь средний, тёплый мир, созданный для них богами, и ещё больше расплодились.

С лёгкостью подчинили себе птиц, собак, лошадей, кошек, пчёл.

Только рыбы и змеи не покорились человеку.

Боги являлись древним чаще, чем нам.

Духовная жизнь древних была очень яркая, глубокая и полная событиями. Древние остро переживали видения и сны.

Они жаждали постичь мир, были любопытны до всего нового и незнакомого. Любая находка, вроде острия из вулканического стекла, или медного самородка, или лесной поляны, заросшей диким чесноком, – давала возможность прожить лишний год.

Древние всюду совали свой нос, за всем наблюдали и всё со всем сравнивали.

Древние были очень любопытны и восприимчивы; всеядны не только телом, но и разумом.

Они много перемещались, ходили в походы длиною в месяцы и годы: любопытство двигало ими, как двигает и нами, их отдалёнными потомками.

До нас дошли их письмена, вырезанные костяными ножами на дубовых досках, выжженные медными иглами на бычьих шкурах: простые знаки, руны, образы людей, богов и смыслов.

За множество столетий, пока люди сражались с великанами, пока отвоевали для себя землю, пока сменились многие сотни поколений, выкормленных молоком великанов, возвращённых мясом великанов, под сводами хижин, крытых шкурами великанов, – часть великаньего существа вошла в людей, и каждый человек стал на малую долю великаном, и воспринял великанью суть.

Кровь великанов перелилась в людей, и навсегда осталась.

Так род древних людей сросся с родом великанов.

Произошло это очень давно, много тысяч лет назад.

Ныне род великанов рассеян, и представителей его встречаешь не каждый день; но они всё же есть, и продолжают своё могучее колено.

Человека из рода великанов всегда можно отличить по тому, как много дел он делает каждый день, какие затеи затевает, как горят огнём его глаза и как громко и сильно он кричит в моменты ярости.

С тех пор всё перемешалось. Племена сложились в народы. Пришли люди с юга и с севера, пришли торговцы, пришли завоеватели, полилась кровь, люди угоняли людей, люди менялись оружиями, а главное – люди женились. Кровь мешалась с кровью.

Великанья порода измельчала – но не исчезла вся.

Может быть, пройдёт ещё тысяча лет, или две тысячи, – и кровь чудовищ древнего мира совсем уйдёт из человека.

Кровная память не вечна.

Но пока мы её чувствуем – эту древнюю силу.

Каждый из нас хочет быть огромным, могучим и спокойным, каждый хочет быть равнодушным к холоду и голоду, бронированным в непробиваемую шкуру; каждый хочет жить в большом сильном стаде, где каждый защищает каждого.

Великанья кровь густа, и если она течёт внутри человека – он сам становится густым и твёрдым.

В годы моей юности – очень давно, сто лет назад – я встречал волхвов и ведунов, помнивших древнее поверье: однажды весь род великанов вымрет до корня, и останется один, последний, самый могучий великан, и он придёт к людям, прошагает по всем землям, с севера на заход, а потом на восход и на юг, пройдёт медленно и грозно: последний и величайший из всех.

Согласно той наивной сказке, ныне полузабытой, последнего великана убьёт человек, не воин и не князь, не рыболов и не пахарь – никто. Отрок, не знавший женщины. Убьёт – и уподобится богам. Унаследует силу всего тысячелетнего великаньего рода, и поведёт человеческие племена к изобилию и всеобщему счастью.

Но поверье теперь забыли. И ни один великан не пришёл с севера за всё то время, пока я живу на белом свете. А если поверье не сбывается – его перестают помнить и повторять, оно теряет значение; так и теперь, в новейшие времена, мои рассказы про страсти ветхого мира, про великанья дела, про щуров и пращуров, твёрдых, как камень, – не имеют большой цены.

Но если вы посмотрите друг на друга – увидите, что великанья порода жива.

И теперь признаюсь: я видел древних людей.

Выходцев из старейших родов, носителей великаньей крови.

Видел много раз.

Вы не встречали их – а я встречал, это было давно.

Я говорил с ними, пожимал их руки, обонял их запах, смотрел в их глаза.

Они никогда ничем не болели, они работали с рассвета до заката, они всё умели, они ничего не боялись, они могли не спать и не есть по несколько дней.

Их кожа была самая обычная, розовая, но иногда, издалека, при косом взгляде, могло показаться, что вместо кожи они защищены непроницаемой бронёй, да ещё впереди два бивня: разозлишь – проткнёт.

Я встречал их семь или восемь раз: в прошлые отдалённые времена, в мои молодые годы.

Такова была и Марья Радимовна, кузнецова младшая дочь.

7.

Весь следующий день с самого рассвета мы готовили праздник. Приехал мальчик Велибор, и его друг, мальчик постарше, который не назвал своего имени, а только смотрел, слушал и что-то жевал, и с ними в охране – дядька с ножом, очень недовольный, что его рано разбу-

дили, – все трое на таких сытых сильных конях, в таких наборных сбруях и в таких юфтяных сапогах, что я понял: надо было ломить за свой труд ещё бóльшую цену.

С богатыми людьми всегда так: никогда не знаешь, насколько они богаты.

Мы показали Велибору выбранное место: холм у реки, заросший с холодной стороны репейником, а с солнечной – ореховыми кустами. До берега – шагов полтора. Репейник мы решили выбить руками, потому что за репейным полем была лысина и ручей. На гульбище люди много пьют воды, ручей обязателен.

Затем мальчик Велибор, его друг, не назвавший имени, и их дядька – уехали в город, а мы втроем срубили себе по крепкому берёзовому дыну и выбили репейное поле, а потом до вечера строили большой односкатный навес.

К вечеру трое разбитных мужиков – Велиборовы смерды – привезли из города три волокуши берёзовых и осиновых дров. Очень хотелось расспросить смердов, на вид достаточно благополучных, спокойных, – как им живётся в рабах у богатой Велиборовой семьи; но мужики вели себя так, что было понятно: они не разговаривают даже меж собой. А уж на нас – бродяг, глумил, пришедших из отдалённых глухоманей, – даже смотреть не хотят. Кирьяк спросил, не играют ли они в зернь, – один из троих ответил «нет» и ухмыльнулся презрительно; смерды вывалили дрова из волокуш и ушли. Их спины были мокры от пота.

Девка Марья пришла, когда мы в темноте переносили из стана на холм наше главное и самое ценное имущество: бубны.

Весу в них мало, зато размер большой. Мой бубен был примерно в мой рост. У Кирьяка бубен был средний, звонкий, в три четверти сажени. А у Митрохи – тоже средний, но старый, глухой.

Марья спросила, много ли людей придёт на гульбище, и Кирьяк ответил обычной нашей присказкой:

– Всяк, кто не дурак!

Она засмеялась, отвернувшись.

Я смотрел, и у меня голова кружилась; она как будто светилась изнутри, было темно, облака, луна на прибытке; но я видел девку всю, до мелких жилок, она улыбалась, мы были ей искренне интересны.

– Завтра мы ждём вас всех, – важно сказал Кирьяк. – И тебя, и твоих сестёр. Старшую я особенно жду. Как её зовут?

Марья снова засмеялась и ответила:

– Захочет – сама скажет.

Повернулась и убежала.

8.

Я стучу в грудь бубна.

Он ревет, как тур, как матёрый медведь.

Возле меня, вокруг меня, сколько хватает глаз, – танцуют люди, молодые парни и девки.

Девки сильно больше, но так и должно быть.

Они танцуют, погружённые в плясовую морок, в бешеное забытье, – они наслаждаются, они счастливы в эту ночь.

Ревёт-гудит мой бубен. В разгаре гульбище.

Большинство волхвов и ведунов считают, что плясовая забава придумана богами нижнего мира, и рёв глумецкого бубна вредит человеку, обманывает его, отвлекает, отучает любить настоящее, так же, как отучает хмельная брага или грибы- дурогоны.

Другие волхвы, наоборот, говорят, что пляска есть радение в пользу богов, и всяко одобряют.

Бывает, что в двух соседних селитьбах, отстоящих друг от друга на расстояние пешего перехода, один волхв лаает гульбища и не позволяет, а другой – наоборот, разрешает и благоволит.

Но мне, здесь и сейчас, всё равно, что думают волхвы, ведуны и другие умники.

Я бью в бубен, потому что так мне велит моя природа.

Я для этого родился; когда я бью в бубен, люди вокруг меня рады, им хорошо, они счастливы.

Я считаю, что радость – главное переживание человека, и если люди смеются – значит, я прав, не зряшную жизнь живу.

Значит, плясовую забаву придумали боги верхнего мира, те, кто нас, людей, берегут и о нас заботятся.

В моей ладони, мокрой от пота, – колотушка. Я стою возле бубна и бью, стараясь попадать в середину, но от усталости это не всегда получается.

Вы, может быть, не знаете, что плясовой бой делится на четыре доли, а те четыре – ещё на четыре, и ещё на четыре, и так далее. Чтоб бить точно в долю, нужен особый слух, и если у вас его нет – значит, нет. У меня слух есть, и поэтому я глумила и умелец бубенного боя.

Я стою сбоку от бубна, чтобы не преграждать исход звука.

Бубен туго подвешен на ремнях в деревянной раме высотой в полтора моих роста. Если встать прямо перед бубном – звук пойдёт через тело, и ты быстро оглохнешь, потом, может, даже и ослепнешь, впадёшь в морок, и однажды товарищи просто оттащат тебя от бубна за руки и за ноги и будут отливать водой, пока не оклемаешься.

Стоять надо сбоку.

Когда я устану – я кивну моему напарнику Кирьяку, и он будет стучать вместо меня.

Третий наш дружила, кривоглазый Митроха, помогает то одному, то второму, подстukiвает на среднем бубне, то колотушкой, то ладонями, молотит сложно, изошрённо, – нам повезло, что мы его разыскали. Жаль, хватает старика ненадолго.

Митроха быстро устаёт, откладывает бубен, отходит назад, скрывается за навесом, переводит дух.

Так мы стучим с полуночи до рассвета, по очереди, а вокруг нас пляшут резанские девки и парни.

Их нельзя счесть: три, четыре сотни, весь холм шевелится, как живой; одни приходят, другие, наоборот, исчезают. Много ребятишек под вечер, но после заката все они разбегаются по хатам, к мамкам под одеяла; остаются старшие, те, кому исполнилось двенадцать-тринадцать, и взрослые, кому четырнадцать и более.

Привлечённые шумом, приезжают совсем взрослые, любопытствующие посадские, многие – верхом, а есть и те, кто на повозках, – женатые, богатые: лузгают семечки, глазеют, как прожигает жизнь современная городская молодёжь.

Грохот неимоверный, я стараюсь, Кирьяк старается, дед Митроха старается, толпа содрогается и колышется, ночной воздух возбуждает, жар от кострищ горячит лица.

Судя по глазам, по хохоту и жару, такого праздного действия здесь давно не было.

Я стучу и вижу младшую дочь кузнеца, девку Марью, – она стоит с краю, стесняется, а наряжена как птица, вокруг шеи – веер из перьев, и вдоль локтей перья, и сзади на спине, и пониже спины; в свете костров перья играют переливами, и младшая дочь кузнеца выглядит, как сбежавшая с верхнего неба божья жена. Перья как настоящие, но приглядеться – сшиты, связаны из цветных тряпок, искуснейшим образом.

После заката приезжает Велибор, а с ним ещё полторы дюжины мальцов и девчонок, все верхом, все в шерстяных платьях, в бронзовых ожерельях, в серебряных браслетах, сладко пах-

нущие сахарным вином из запечатанных глиняных кувшинов; гладкие, расслабленные девочки с лёгкими русыми волосами, слабосильные юноши с белыми бледными шеями и тонкими губами, в сапожках из телячьей кожи, в резных костяных нагрудниках, и с изумительными, тончайшей чеканки перстнями, в которых волшебным сверкают самоцветные камни.

Увидел их, резанских богачей, – и в третий раз пожалел, что не заломил цену.

Другие приходят пешком, парами – малый с девкой – или ватажками: три-четыре девки, два-три парня.

На закате мы начали, а к полуночи уже стоял полный угар.

Кто хотел – разделся донага. Комаров отгонял еловый дым. Не в меру разгорячённых охлаждала родниковая вода. Прямо за навесом, где гудели бубны, любому желающему бражник наливал пиво, мёд или брагу. Чуть дальше, вниз по склону холма, в выбитых зарослях репейника, жгли ещё один костёр и возле него угощали грибами, там людей было мало, а раздавал грибы сам мальчик Велибор, сидючи на бобровой шкуре. Я обратил внимание, что Велибор, оплативший весь дорогостоящий праздник из собственного кармана, сам не плясал, только смотрел: сидел у огня с гордым видом, и его глаза блеснули.

А ещё ниже по склону горел ещё один костёр, сплошь из еловых веток, для тех, кому не нужны были ни брага, ни грибы – кому хватало друг друга.

Там я заметил двух старших кузнецовых дочерей, обе с головы до ног в медных и бронзовых монистах, обе такие румяные, поднеси лучину – вспыхнут. Видно, девичья постная житуха была им совсем невмоготу.

Уже перед рассветом, в час волка и собаки, все пьяны: кто от браги, кто без браги; девки – малиновые от волнения, мокрые от пота, пахнут как животные; парни прыгают через огонь, и всё перешибает вонища палёных волос. Один совсем упился, прыгает и спотыкается об головёшки, рушится в полымя, его вытаскивают с хохотом, у него горят борода и брови. Я узнаю в нём дядьку-охранника, который стерёг мальчика Велибора. Дядька тоже, видать, оказался не чужд молодецких забав. Его оттащили в сторону, набросили одеяло, сбили огонь, а он – воет в голос от боли и наслаждения, и какой-то парнишка в одних портах подбирает в костре и приносит следом бронзовый нож дядьки, и кладёт рядом.

Я понимаю, что момент настал, и киваю Кирьяку – тот выскакивает на вершину холма перед всеми, в маске козла, с рогами в стороны, а следом и сам я, в наморднике из бересты, изображающем поганую змеиную голову, – и мы начинаем крутить-вертеть карусель, и на руках, и на головах, и прыгаем, через голову с переворотом, вперёд-назад; визжат счастливые девки, алые искры летят в чёрное дымное небо, – и вот прохладный рассветный ветер сдвигает в сторону дым, и звёзды бледнеют. Пришёл новый день.

Уже вся толпа разделилась. Большая часть убежала к реке, купаться, миловаться по кустам. Меньшая часть уснула, где застиг сон: кто выпил лишнего, кого так сморило. Костры потухли, но возле самого большого собрались дюжины две стойких, ради последнего, самого яркого действия-зрелища. Кирьяк длинной слесей разворошил кострище, выровнял угли, обратил в полыхающий ковёр – они светятся теперь рубиново, переливчато, и Кирьяк выходит босиком на ковёр из углей и шагает по ним, закинув лицо в небо.

Один, второй – стягивают сапоги, кожаные и лыковые лапти, босые выходят на пылающий круг.

Кирьяк в центре, хлопает себя ладонями по груди, по бокам, дышит шумно.

Для ужаса я подкидываю кусок бересты на ковёр из пылающих углей – береста вспыхивает и окутывается облачком густого синего дыма.

Но по тем же пылающим углям хрустят босые ноги самых смелых и самых отчаянных.

И я вижу среди нескольких идущих по углям – младшую дочь кузнеца.

Она уже сбросила с себя платье из перьев и нижнюю юбку – она совсем нагая. Я вижу её со спины – она идёт по углям осторожно, как по болоту, и сама похожа на язык пламени.

Дрожит, плывёт горячий воздух.

По обширному кострищу, босыми ногами по алым углям, ходят нагие люди, не боясь, не стесняясь.

Я вижу ещё одного: молодого, невероятно сильного на вид парня, совсем голого, у него широкая спина и мощная шея, он шагает по углям слишком легко, как будто ничего не весит, он дважды проходит мимо дочери кузнеца, совсем голый малый рядом с голой девкой, на пылающем ковре из живых углей, в горячем мареве; миг – и волосы девки вспыхнут; но не вспыхивают, лишь ветер их шевелит; и нагота этих двоих, в оранжевом огненном круге, кажется мне совершенной, полней полного, как будто они – боги.

Я замечаю, как они смотрят друг на друга, эти двое нагих, счастливых.

Я пытаюсь внимательней рассмотреть странного невесомого незнакомца. Он слишком крепкий для своих лет, как будто тело тридцатилетнего матёрого воина приставили к голове четырнадцатилетнего паренька. Под его левой лопаткой набито сложное пятно, несколько знаков в центре правильного круга; расстояние слишком велико, чтоб рассмотреть внутри пятна отдельные знаки, но достаточное, чтоб понять: ни один из известных мне умельцев не может набить столь искусный рисунок.

Я вижу, как нагой парень с пятном протягивает руку дочери кузнеца, и она уходит вместе с ним в прозрачную тьму.

Его кожа слишком гладкая и тёмная, бронзовая, а взгляд слишком уверенный и прямой. Нездешняя, нелюдская сила исходит от него.

Обоняя эту силу, я вздрагиваю.

Я смотрю, как он уводит девку Марью в сторону реки, и сотрясаюсь от страха.

Так заканчивается гульбище.

Сходит на нет праздник – гостям пора и честь знать.

Я не вижу, куда ушли эти двое.

По мне ручьём течёт пот. Мне подносят баклагу мёда – я хлебаю, не чувствуя вкуса.

Мертвеют, истаивают угли на рубиновом ковре.

После полной ночи бубенного боя я ничего не слышу. Глазами понимаю – уходят двое нагих, счастливых, он и она, уходят, падают в пропасть, одну на двоих. Звуков нет, только свист в ушах. Вижу обращённые в мою сторону лица, вижу улыбки, вижу лучи в глазах, всем понравилось гульбище, гости рады, благодарят, суют кто дорогой подарок от щедрот, кто сувенир от наивного довольства, а я – ничего не слышу, только киваю, рукой отмахиваю, да, благодарствую, мне тоже по нраву, я тоже доволен, мы все для вас старались, за-ради вашей улады.

А сам смотрю: куда же убежали, в какую сторону увлёк кузнецову дочку тот непонятный, жилистый, то ли муж, то ли мальчик, то ли гость посторонний.

А мне – чего? Я посмотрел, я вздохнул.

Дураки думают, что нам, глумилам, на всяком празднике достаются лучшие девки.

Это враньё.

Лучшие девки достаются лучшим парням, но только при одном условии: если и девка местная, и парень местный.

А глумила – кто таков? Всегда чужой, пришлый.

На самом деле девки боятся таких, как я.

Утро вступило. Сверху – небесная сырая прохлада, снизу – земной жар, огонь, дух телес.

Догорают угли. Остывает бубен. Орут в затоне растревоженные лягушки. Поют птицы, утро празднуют. Хорс выходит на голубую пажить, в его лучах распрямляется трава. Кирьяк спит: не сдюжил праздничного накала, рухнул, голову завернул в подол потной рубахи, захрапел. Руки раскинул, и я вижу – под ногтями кровь запеклась. Если всю ночь бить в бубен – всегда кровь идёт, по-другому никак.

Кончился праздник.

И вот, когда я, оглохший, измученный, смотрел вслед тем двоим – убегающим, счастливым, голым, – я понял, почему ощущаю страх вместо довольства или гордости.

Тот малый, что увлёк девку Марью, утащил за собой в лес, – был не наш.

Нелюдь. Оборотень.

Я смотрю в его спину, он бежит по холму, вниз по склону, чудом не спотыкаясь, и увлекает за собой хохочущую, почти безумную Марью, младшую дочь кузнеца Радима. Я точно вижу, что он – нелюдь, но поделаться ничего не могу. Холодная волна смысла переваливает через моё темя.

Постороннее существо, принявшее вид человека, забрало у меня девушку, которую я любил.

И вот я вижу: он шагает в чащу и пропадает, а из ветвей, хлопая сильными крыльями, вылетает сокол, и ввинчивается в синее утро.

9.

Когда разошлись все, кто мог ходить, – мы сняли бубны с растяжек, отнесли в лагерь и спрятали. Потом пришлось ещё дважды возвращаться: забрать меха с остатками пива и браги, туеса с ягодами, прочую снедь. Напоследок Кирьяк походил меж уснувших. Поискал, кто чего обронил. Нашёл два ожерелья и амулет. По обычаю, находки принадлежали нам. Но украшения оказались простенькими кожаными плетёнками, амулет – куриный бог в волосяной петле. Кирьяк повертел его в руках и оставил возле самого большого кострища на вытопанной траве, чтоб издалека было заметно.

И мы ушли с гульбища, вернулись в стан и немедленно уснули мертвецким сном. Стеречь вызвался Митроха, хотя на вид умаялся больше нас.

После гульбища я, как обычно, снов не видел, а только слышал рёв бубна, сотрясающий в голове, за костями черепа, все три моих разума – нижний, который повыше шеи, и средний, который за глазами, и верхний, который на темени; спал, а кожаное горло моего бубна гремело и жарко дышало в меня, как будто я замерзал и меня нужно было отогреть.

Когда проснулся – солнце поворачивало на закат, и стояла такая млечная, сладкая теплынь, какая бывает только в этих местах и только в начале лета; не жара и не прохлада – чистая нега, пахнущая цветами.

Далеко ещё было до нового урожая, до сытой разгульной осени. Не поднялась ещё рожь, не налились яблоки, не пошли грибы. Зверь ушёл в чащи, пестовать новый помёт. Но цветы уже стояли, сплошным ковром до пояса, от бархатного багряного до густого синего – и гудели над ними пчёлы, обещая бортникам добрый сбор.

Я спустился к реке, скинул порты и долго плавал, отодвигая ладонями клубы тополиного пуха. Вода у поверхности была совсем тёплая, однако ноги загребали студёное. Бубен в голове гремел уже не так сильно. Я знал, что он замолкнет только на второй день, и всё это время, кроме грохота и стука, я почти ничего не буду слышать.

Она появилась – я не заметил.

Вышла на берег, и стояла, дожидаясь, пока я её увижу; а когда поняла, что увидел, – отошла в сторонку и отвернулась, чтоб я смог спокойно натянуть порты.

– Надо поговорить.

Я кивнул и показал пальцем на ухо.

– Конечно! Только – громко! Я всю ночь в бубен бил!

Марья кивнула и подошла ближе, и я едва сдержался, чтоб не схватить её и не прижать, и не отпускать больше никогда.

– Нелюди, – громко произнесла она. – Птичечеловеки. Ты что-нибудь про них знаешь?

– Знаю, – сказал я (собственный голос едва доносился). – Но их, говорят, не бывает.
– Бывают.

Я сразу понял. Вспомнил широкие плечи и шею того, кто увёл её с холма к берегу реки.

И ответил:

– Я их никогда не видел. Только слышал старые байки. Это оборотни. Больше чем люди. Люди – и одновременно птицы. От них не бывает вреда.

Марья помолчала, подобрала плоский камешек и с мальчишеской ловкостью, вывернув сильный локоть, пустила по воде: камешек запрыгал и канул в тонком предвечернем тумане.

– Он назвал своё имя, – сказала она. – Финист.

– Финист, – повторил я. – Что за имя такое?

Марья пожала плечами.

– Такое.

– И что оно значит?

– Ничего не значит. Финист.

– Это первое имя – или второе?

– У каждого из них только одно имя.

Я подумал и сказал:

– Так не может быть. Кто родился с разумной головой, тот берёт себе три имени, а у тех, кому повезло, может быть и четыре, и даже пять.

– Одно имя, – повторила Марья. – Финист. Некоторые стороны их жизни устроены проще, чем у нас.

– Это он тебе сказал?

Марья кивнула. Села на землю и обхватила руками колени.

– Что ещё он говорил? – спросил я.

– Почти ничего. Молчал и на меня смотрел. Потом улетел.

– Ты сказала ему своё имя?

– Да.

Я набрался тогда храбрости и спросил:

– Зачем он тебе?

– Не твоё дело.

Но мне было важно понять, и я добавил:

– Он красивый. И здоровый. Выше меня.

Марья сразу кивнула, как будто думала о том же.

– Да. Он очень сильный. Таких, как ты, троих в землю втопчет.

– Ну, это неизвестно.

Она засмеялась.

– Вы, парни, – сказала, – такие смешные. Обязательно вам надо знать, кто кого и сколько раз втопчет.

– Разумеется, – ответил я. – Что может быть важнее. Ты взрослая девка, а не понимаешь. Давай, мы его тебе поймаем? Этого оборотня? Силок поставим, а как попадётся – прибьём дубинами, и в клетку посадим. Будешь его мышами кормить.

– Дурак, – сказала Марья. – Боги накажут тебя за такие слова. Как же можно живое существо в клетку сажать?

– Птицеловы сажают, и ничего.

– Птицеловы, – сурово сказала Марья, – такие же дураки, как и ты. Птицеловы – злые люди, они жертвуют нижним богам, и после смерти попадут в нижний мир, и жёнами их будут змеи, а друзьями – черви.

Встала и собралась уходить, разгневанная, прямая, алый румянец облил щёки, глаза яркие, сверкают, как у мавки; вдруг мне показалось, что если она сейчас уйдёт – я больше никогда её не увижу, и потом буду всю жизнь жалеть.

А что я дурак – так это не новость. Скоморох и есть дурак, – мы на такие слова не обижаемся, а только хохочем.

– Подожди, – сказал я. – У меня есть друг, Митроха. Он где только не бывал. Пойдём, расспросим его. Может, что-то скажет.

Туман над рекой опускался ниже и огустевал. По зелёной прибрежной глади скользили водомёрки, а дальше, на чистой воде, то и дело всплёскивали хвостами рыбы.

И мы пошли в стан. Я не хотел будить старого Митроху – но он и не спал вовсе. Лежал, завернувшись в лысую свою медвежью полость, и смотрел в небо. А на мой прямой вопрос ответил, что после каждого гульбища не может уснуть по две ночи: грудь ходуном ходит.

Но какая-то часть разума старика всё равно спала, потому что нельзя же совсем без отдыха после столь тяжёлой работы, – и когда Марья подошла к нему и поздоровалась – Митроха очнулся не сразу, несколько мгновений смотрел выцветшими глазами, ничего не соображая, и только потом сел. А когда сел, когда рассмотрел, что перед ним молодая девка, – вдруг застеснялся, засуетился, бороду торопливо обгладил, порты в кулак зажал пониже пупка, – я едва не заплакал. Мужской силы, видать, в нём уже было мало, но приличие осталось.

– Знаю, – сказал он. – Птичечеловеки, да. Летающие оборотни. Есть такие. Считается, что они – орудия старших богов. Я видел птичечеловека один раз. Это был филин. Помню, у него голова вокруг плеч крутилась так, что он мог посмотреть себе за спину. Помню, я испугался, но потом страх пропал. От них идёт сила, ты эту силу чувствуешь – и не боишься. Понимаешь, что они тебе не сделают ничего худого. Людям их никак нельзя увидеть – они сами появляются, по своей надобности. Говорят, они живут все вкупе, отдельным народом, и где-то в небе у них есть своя селитьба. Говорят, они владели миром три тысячи лет, а теперь боги стирают их с лица земли.

Марья слушала жадно, смотрела Митрохе в глаза.

– Ты с ним говорил? – спросила она.

– Нет, – ответил Митроха. – Бесполезно. Всё равно не поймёшь ничего. Нелюди – они и есть нелюди.

– Они как мы, – твёрдо возразила Марья. – Я всё сама видела.

– Снаружи, может, и как мы, – многозначительно сказал Митроха. – А внутри? У меня был когда-то дружок – он рассказывал, что нашёл однажды дохлого птичечеловека и рассмотрел. У него ниже горла был зоб, действительно, как у птиц, и в том зобе – мелкие камешки, они их, стало быть, склёвывают, как куры, чтобы пища в утробе лучше перетиралась...

– Хватит! – сказала Марья с возмущением.

– ...А ещё, – продолжал Митроха, как бы не обратив внимания на выкрик, – тот мой дружок говорил, что пальцы у них не гниют, даже у дохлых, потому что мяса там нет, только жилы, и кости, и когти, острые, как железные ножи...

Тут я понял, что старик просто глумится над девкой, вышучивает.

Но и она догадалась, и улыбнулась.

Удивительно было видеть, как она может так легко и спокойно улыбаться, когда идёт такой страшный разговор.

– Скажи главное, – велела Марья. – С ними можно иметь честное дело?

Митроха блеснул глазом и улыбнулся самой глумливой улыбкой из всех, какие только бывают.

– Дай коленку погладить, тогда скажу.

Тут я ощутил необходимость нарушить молчание и сказал:

– Не груби, старик. Если тебе так хочется, можешь погладить меня.

Митроха тут же сдал назад, осклабился с озорством, обгладил ладонью свою торчащую бородёнку.

– Ладно, – сказал он. – Слушайте оба. Птичечеловеки обычных девок в жёны не берут. Но могут украсть, унести. Считается, что от них у людей потомства не бывает. Если бы обычные девки рожали потомство от нежити – мир заполнился бы ужасными уродами. Волк зайца не кроет, а только бьёт и ест, так мир излажен от века. Так что ты, – он посмотрел на Марью как на врага, – лучше забудь про того оборотня.

Марья не ответила, но и не уходила.

– Я видел его вчера, – добавил вдруг дед Митроха. – Возле тебя. Большой, крепкий. Кожа бронзовая. Наши бубны на таких, как он, не действуют. Жилы у них внутри натянуты стократ крепче, чем у людей, и бой обычного бубна для него всё равно что плеск волны – ничего не значит. Нелюдь, говорю же. Если опять придёт – прогони его. Пусть он живёт в своём мире, а ты живи в своём.

Марья кивнула, помедлила, ничего не сказала и ушла, а мы со стариком, не сговариваясь, легли ближе к остывшему костру. Я заснул.

10.

Помню, снилось Луковое море, а по берегам – земляника размером с кулак, я её ем – а по мне сладкий сок течёт. Проснулся – меня Митроха трясёт за плечо.

– Худо дело, – говорит. – Вставай. Надо решать, что делать.

Одновременно он растолкал и Кирьяка, и теперь говорил, поочерёдно глядя в две наши сонные морды.

– Резанский ухарь Велибор решил нас нагреть. Уговор был, что сегодня на закате он приедет с полным расчётом. Вон – закат. Велибора нет, расчёта нет.

– Не понял, – сказал Кирьяк.

Митроха посмотрел недовольно, поморщился.

– Что тут не понять? Нас дурят. Одевайтесь, берите ножи. Пойдём, должок стребуем.

Для полного расчёта нам полагалось забрать с заказчика ещё две серебряных деньги.

В тех местах, где я вырос, за такую стоимость можно было получить дом, или коня, или железное сажало длиной в полторы руки, или восемь охотничьих ножей с костяными рукоятками, или дюжину новых медвежьих шкур, или четыре дойных козы. Представив себе этих коз и эти ножи, я понял, что мальчик Велибор, любитель грибов-дурогонов, не отвертится.

Возможно, в моих пальцах меньше силы, чем у нелюдя, птичечеловека, – но либо я удавлю мальчика Велибора, либо получу с него полный расчёт.

Мы тщательно перемотали онучи, затянули сапоги, сунули ножи за пояса и пошли.

У городских ворот Митроха снова поднёс стражнику полкуны лысых; нас пропустили.

Чтоб вы знали, в Резане ворот на ночь вообще не закрывали, слишком велик был поток пришлых: бродяг, купцов и нарочитых людей. И ночью, при свете факелов, бурлила суэта вокруг башни, пылали костры, ржали кони, ревели быки, лаяли псы, – если вы думаете, что на нас кто-то обратил внимание, вы ошибаетесь.

Перед нами вошли три вора с севера, с белыми бородами, в которые были вплетены серебряные кольца, а после нас вошла гадалка, предсказывающая судьбу по цвету и запаху скверной женской крови.

Ночные улицы не были пусты, по всем направлениям торопливо шли завёрнутые в плащи фигуры, кто-то кому-то что-то нёс, у одного корзина, у другого фляга, у третьего в рукаве только рукописная грамотка.

Мы долго стучали в огромные дубовые ворота.

С той стороны сплошного забора заходилась лаем псина, кашляла слюной от ненависти.

Как хотите, а я цепных собак не люблю.

Цепные псы – самые несчастные звери из всех, кого люди склонили к сожительству.

Чтобы цепной пёс был злее и внимательнее – у него отнимают всё. Его держат на привязи, его мало и плохо кормят, его не случают с самкой. Цепные собаки сходят с ума и превращаются в безжалостных чудовищ. От голода, неволи и тоски нюх у цепного пса двукратно обостряется; такой пёс чует летучих мышей и кротов, вылезающих из нор.

Держат таких собак только самые богатые люди.

Наконец, за воротами показался свет, засов отомкнули со скрипом, и недовольная круглая морда показалась из щели; нижнюю часть лица скрывала густая чёрная борода, из тех, про которые говорят «лопатой».

Митроха выступил вперёд.

– Беда, – объявил он безо всяких предисловий. – Зови Велибора, пусть бегом бежит. Иначе весь город на уши встанет.

Чёрная борода задвигалась, съехала чуть вбок.

– Говори яснее.

Митроха продолжал давить:

– Зови Велибора. Беда будет. Давай, срочно.

– Спит он.

– Да не спит! – крикнул Кирыак, пальцем тыча в слуховое окошко огромного дома, где, действительно, показался неверный свет. – Вон он! – И Кирыак громко позвал: – Велибор!

– Не ори! – в свою очередь, закричал чернобородый. – А ну идите отсюда. Собаку спущу.

Но за спиной чернобородого уже появился сам Велибор, заспанный, в домашней шерстяной курточке на голое тело – он хлопнул мужика по спине, и тот замолчал. Велибор подошёл ближе.

Мы трое поклонились, но без большого уважения.

– Здоров будь, Велибор, – сказал Митроха. – А где наш расчёт?

Мальчик задумался и вдруг просиял.

– Расчёт! – крикнул он. – Конечно! Я забыл.

Его глаза скосились к середине, и всё лицо приняло неприятное, заячье выражение, означавшее, видимо, крайнюю досаду, и сожаление, и недовольство собой: скорее всего, он действительно просто забыл о нас.

Тем временем за забором снова заскрипела тяжёлая дверь, и появился третий, уже нам знакомый старый дядька, сопровождавший мальчика во время праздника, тот, что перебрал пива и неудачно сиганул через костёр; теперь он был угнетён духом и лохмат, но внешне устойчив. В одной руке он держал факел, а в другой – тяжкую палицу, окованную медной полосой.

– Чего тут? – крикнул он.

Велибор оглянулся на него.

– Я принесу, – сказал он нам и сделал движение, чтоб уйти. Но Кирыак ухватил его за богатый рукав.

– погоди, – сказал он. – Побудь с нами. Скажи, чтоб вынесли.

– Две серебряных, – добавил я, одновременно глядя мимо Велибора, на его дядьку, и улыбаясь.

Велибор сообразил, кивнул, и заячье выражение пропало с его лица. Он оглянулся на похмельного, шумно сопящего дядьку и велел принести кошель. Дядька недовольно вздохнул, положил палицу себе под ноги и, не сходя с места, вытащил из-за спины кошель, уже, оказывается, приготовленный, висевший у него сзади на поясе.

Пёс продолжал заходиться ненавистью, клал зубами и ударялся грудью о забор.

Дядька не отдал весь кошель Велибору. Сам развязал шнур и невесело спросил:

– Сколько надо?

– Две серебряных.

Дядька достал две серебряных деньги и швырнул в нашу сторону, целясь попасть под ноги, чтоб, значит, унижить.

Но Кирьяк быстро сообразил и выскочил вперёд, навстречу летящим деньгам, – и ловко поймал обе у самой земли.

– Удачи вашему дому! – крикнул он так нагло и весело, как только он умел; забросил обе деньги за щёку, поклонился небрежно – и пошёл прочь, не теряя ни мгновения.

Я и старый Митроха коротко кивнули мальчику Велибору и припустили следом, не сказав более ни слова, оставив за спиной и Велибора посередь улицы, и двух его присных в воротах огромного дома, и опасную псину за забором.

Если расчёт получен, уходить лучше сразу.

На половине пути, оглянувшись, я увидел, что человек с чёрной бородой шагает за нами сзади, отставая шагов на пятьдесят.

– Херово дело, – сказал дед Митроха, когда я показал ему соглядатая. – Пошли за мной. Мы свернули в переулок.

У входа в кружало на утоптанной нечистой земле валялись трое или четверо тех, кому уже хватило.

Дверь болталась на одной петле; Митроха толкнул локтем и вошёл первым.

Внутри – воздух словно спёрли, воняло горелым жиром, колебалось лучинное пламя; густой многоголосый храп заглушал прочие звуки. На полу вповалку лежали упившиеся, в чувстве и без него; ни один не мог держать спину прямо, кроме самой хозяйки-кабатчицы.

Очаг уже был потушен, в дымник задувало ночным ветром. На стенах висели доски, изрезанные сложными рунными ставами, – я не смог разобрать ни одной надписи.

Здесь мы втроем сели за стол и сдвинули головы.

Кирьяк выплюнул одну из двух монет и отдал мне – я, в свою очередь, точно так же спрятал её во рту.

– С наживой не уйдём, – прошептал Митроха. – За ворота выпустят, но догонят по дороге. Деньги отберут, а самих переломают.

– Убежим, – сказал я.

– Вы-то убежите, – ответил Митроха, – а я куда? Я старый, я за вами не успею.

– Останься тогда здесь, – предложил Кирьяк. – Мы с деньгами убежим, а ты завтра утром пустой выйдешь – и нас догонишь.

– Нет, – возразил я. – Так не можно. Мы – ватага. Мы своих не бросаем. Пересидим тут, завтра спозаранок уйдём все трое.

Мы переглянулись молча.

От длительных раздумий нас избавил наш чернобородый преследователь: он вбежал, широко распахнув перед собой дверь, сощурился, увидел нас, на миг окаменел, затем его глаза сверкнули, и он молча вышел, столь же поспешно. Конечно, он понял, что мы его заметили.

– Выследил, – сказал Кирьяк. – Теперь подмогу приведёт.

– Не, – сказал я, – не может быть. Нас – трое. У нас – ножи. Что же они – за половину серебряной гривны устроят резню внутри города?

– Можешь не сомневаться, – сказал Митроха. – Я бы устроил.

– Тут князь есть. Охрана. Порядочек.

Возразил и подумал: зря возражал. Какой князь? Какой порядочек? Князя летом в походах, виру собирают, и охрана вся с ними. А в городах оставляют малый отряд.

– Эх, – сказал я. – Ты, Митроха, просто бздун. Тебя слишком часто били. Тебе везде чудятся сломанные пальцы и отобранные деньги. Никто нам ничего не сделает. В крайнем случае мы с ним вдвоём, – я ткнул пальцем в Кирьяка, – положим любых пятерых.

Под взглядом Митрохи мой друг Кирьяк значительно кивнул и для придания веса своему ответу хлопнул меня по плечу ладонью.

– Здесь, – добавил я, – всяко лучше, чем ночью на пустой дороге.

Порешили остаться в кружале и ждать до утра.

Отдали полкуны лысых за горшок варёной свинины и шесть ковшей яблочной браги. За такую цену в моей родной селитьбе можно было три раза пропить всё родовое хозяйство. Жаль было втридорога платить за скверную еду и выпивку, когда в нашем собственном лесном стане, в двух часах пешего хода, нас дожидалась всевозможная дармовая снедь; но делать было нечего, мы уплатили, поели и выпили.

Вокруг валялись и храпели полуголые, мокрые от пота пьяницы, всхлипывали, вскрикивали, что-то бормотали, стонали; то один, то другой приподнимался и неверной рукой норовил пошарить на ближайшем столе, но ни одна посуда ни на одном столе не стояла прямо, всё было опрокинуто, перевёрнуто, разбито и разлито.

– Посмотри, – я показал Митрохе на стену. – Что за руны такие? Не могу разобрать.

Дед глянул, сощурил глаза.

– Это не руны, – ответил он. – Ромейская грамота. Очень трудно освоить. Каждый знак означает не целое слово, а только его часть. Чтобы собралось одно слово, надо прочесть весь став и понять все знаки подряд.

– Ты умеешь?

– Более-менее.

– И что здесь сказано?

Митроха повторно пригляделся, наморщил бледный, в веснушках, лоб; пошевелил губами.

– Здесь сказано, что бог – един.

Кирьяк, глотнувший сей момент браги, поперхнулся.

– Бог не может быть един, – значительно сказал он. – Никто не может быть един. Так не бывает. Гляди на нас. Сидим – оба-трое! Втроём веселей. А богам ещё веселей, их много!

– Ромеи, – сказал Митроха, – живут за морем, на краю земли. Они – не как мы. Вообще другие. Они верят, что бог един.

– Дурень ты, – печально сказал Кирьяк. – А я думал, серьёзный мужик. Если бог – един, кого он ёт?

– Никого не ёт, – ответил Митроха.

– И как же он без бабы обходится? Вынимает причиндал и сам себя тешит?

– Нет у него причиндала.

– У бога – нет причиндала?

– Нет. Но сын есть.

Кирьяк обвёл меня и Митроху соловыми глазами.

– Хорош бог. Никого не ёт, причиндала нет – а сын есть!

– Да. От целкой бабы. Из смердов.

– Из смердов? Что ж он за бог, если поял простую бабу? А мог бы княжью жену, или дочку! Да кого угодно!

Митроха поднял ладони в мирном жесте.

– Это вера ромеев. Они думают, что бог не сам поял ту бабу. Бог пустил особый ветер, и от того ветра невинная девка понесла божьего сына. Имя его – Крест. Он умер, а потом восстал из мёртвых.

– Восстал из мёртвых? Так он упырь, что ли?

– Не упырь. Божий сын.

– Ты сам-то веришь в такое? Сидит один бог – и воет от тоски! Поять некого! Поговорить – не с кем! Единственный сын – и тот упырь!

– Он не упырь, а сын бога.

– То есть, нелюдь.

– Нет. Человек.

– Ничего не понимаю, – недовольно сказал Кирыак. – То ли нелюдь, то ли человек, то ли упырь. От ветра зачат. Такое придумать – браги мало, тут чего покрепче надо...

– Это не придумано, – твёрдо сказал Митроха. – Это было на самом деле. Есть много людей, они своими глазами видели. Божьего сына прибили гвоздями к столбу. Он помер, потом восстал и пропал, больше его никто не видел.

– Гвоздями к столбу? За что?

– За разговоры.

– Кто прибил?

– Сами они и прибили. Ромеи.

– Сами прибили – и сами поверили?

Митроха кивнул на стену.

– Так написано. А если написано – нельзя не верить. Люди всякое ненужное записывать не будут. Пишут только самое главное.

– Ладно. А зачем такое писать здесь? В кружале, на стене?

Дед Митроха заулыбался беззубым ртом.

– А где такое писать – на требище? На княжых воротах? Только в кружале.

На том спор иссяк.

Брага была кислая, но крепкая, меня забрало, и я слушал, как Кирыак, тоже сильно захмелевший, рассказывает мне, чертя пальцем по липкому столу, как можно безопасно и быстро ограбить дом Велибора и вынести серебро, которого там, судя по всему, столько, что впятером не поднять; я слушал и не понимал ни слова.

Тёмный зал, пропитанный кислой пьяной тоской, вращался вокруг, как будто на мой хребет был насажен весь мир, со всеми его богами, людьми, зверьми, упырями и оборотнями, мавками, ведьмами и лешаками, и я, почувствовав знакомый позыв, стал постукивать ладонью по столу и завёл песню; она сама собой складывалась в груди и в горле.

Кирыак замолчал, послушал, потом стал хлопать в долю и хрипло помогать с припевом; мы с ним, как нетрудно догадаться, давно спелись.

*Больше мне не наливайте,
Не трогайте, отстаньте,
Хотите убить – сначала поймите,
Но больше не наливайте.
Глубже, глубже копайте, ещё глубже копайте,
Но больше не наливайте.
Хотите убить – сначала поймите.
А теперь не трогайте,
И больше не наливайте.
Ничего, ничего не давайте,
Хотите – бейте, или в рабы продайте,
Всё равно утеку, так и знайте,
Хотите – хулой лайте, или стрелой стреляйте,
Но только больше не наливайте.
Хотите – байки байте,
Хотите – сажалом сажайте,
Хотите – купите, хотите – даром отдайте,
Но только теперь – не трогайте,*

И большие не наливайте.

Митроха не стал подпевать и подстукивать, но молчал так, что было ясно – он с нами, внутри песни тоже.

Несколько лохматых голов поднялось, мятые мутноглазые морды обратились в нашу сторону, и даже кабатчица вышла из своего закута – убедиться, что гости не бьют друг друга, не режут и не грабят, а только поют.

На рассвете мы ушли из кружала. По сырому прохладному утру дошагали до ворот и беспрепятственно покинули город: никто нас не преследовал и не покушался. Стражник посмотрел с подозрением, как на воров, но в руках у нас ничего не было.

Наш преследователь, чернобородый слуга из дома Велибора, исчез. Может быть, пока мы горланили пьяные песни, он прятался где-нибудь за углом, в ожидании, да и заснул.

Кто сыто ест, тот слишком крепко спит.

11.

В стане мы перевели дух; Митроха предложил немедленно уехать.

– Работу сделали, деньги взяли, – сказал он. – Быстрее уедем – целее будем.

Но Кирыак имел другие планы. Он снова перемотал сапоги, взял флягу с мёдом, увлёк меня в сторону и шёпотом объявил: пойдёт в гости к кузнецовым дочерям, а именно – к старшей: оказалось, он с ней уже договорился, ещё вчера, на гульбище.

Я молча пожал плечами: меня не звали. Остался увязывать поклажу, готовить лодку в обратный путь.

Собственно, груз наш состоял из нескольких больших свёртков с едой и нескольких фляг с выпивкой. Бубны мы обычно грузили перед самым отплытием, а пока я тщательно осмотрел свой, особенно по краям. Кожа бубна от напряжения устаёт, даёт слабинку – обычно её над костром нагревают, чтоб натянулась, и от этого по краям появляются трещины. Если вовремя не заметить и не смазать жиром, бубен пропадёт.

Кирыак вернулся в полдень, довольный, разомлевший, – видать, хорошо ему перепало от щедрот старшей кузнецовой дочери; подозвал меня.

– На гульбище приходил нелюдь. Ты его видел?

– Видел, – сказал я.

– А чего молчал?

– А что надо было делать? Кричать и пальцем тыкать? Портить людям праздник? Я мог обознаться.

– Ты не обознался, – хмуро сказал Кирыак. – Он в эту ночь приходил в дом кузнеца. Вернее, прилетал. До рассвета сидел у младшей в комнате. Сёстры дырку в стене провертели – и подглядывали. Настоящий нелюдь, матёрый. Ходит бесшумно. Кинулся в окно человеком, а выскочил соколом. Сёстры обе напуганы до смерти.

– Ну и ладно, – сказал я, скрывая печаль. – Какое наше дело? Марья не дура, сама разберётся.

– А если он её утащит?

– Пусть тащит, говорю же, у неё своя голова на плечах.

– Слушай, – сказал Кирыак. – Ты забыл, где живёшь? Если младшая дочь выйдет замуж вперёд старших – что делать старшим? Всё должно быть по ладу и ряду.

– Конечно. Но мы тут при чём?

– Глафира просит, чтоб мы его поймали.

– Иди, – сказал я. – Поймай. Раз Глафира просит.

– Поймаю, – твёрдо произнёс Кирьяк, – если поможешь. Деда тоже позовём. Втроём управимся. Сёстры заплатят. Если младшая сбежит с оборотнем – старшие замуж никогда не выйдут. Сам подумай. Кто возьмёт девку из семьи, где случилось такое непотребство?

– Нет, – ответил я. – Не пойду, и тебя не пушу.

Кирьяк посмотрел на меня, как на безнадёжного болвана. Он умел так смотреть.

Из нас двоих я был умнее, но он считал, что наоборот. Меж товарищами такое случается часто.

– Марья тебе нравится! – сказал он. – Я же вижу! Давай убьём его, и ты получишь, что хочешь.

– Нет, – сказал я. – Она выбрала его. Не меня.

– Она – молодуха, – горячо возразил Кирьяк. – Ей двенадцать лет. Это её первое взрослое лето. В голове – туман. Сегодня она выбрала его, осенью выберет другого, а на будущий год выйдет замуж за третьего. Почему отступаешься так легко?

– Не хочу причинять боль.

– Она ничего не узнает. Нелюдь прилетает в полночь, улетает на рассвете. Поставим сеть, поймаем, задушим тихо. Потом увезёшь её с собой...

Я хотел сказать «нет» в очередной раз, но тут подошёл Митроха и встрял в разговор.

– Кого душить собрались? – спросил он шёпотом. – Нелюдя?

Вид он имел самый серьёзный, и даже глаз косил как будто меньше, чем обычно.

Кирьяк кивнул. Митроха обвёл пальцем верхушки сосен.

– Они всё слышат и всё видят. И убить их нельзя, слишком сильные. Ни стрелой попасть, ни рогатиной проткнуть. Забудьте про это. Отваливать пора.

– А я не верю! – заявил Кирьяк, в полный голос, развернул плечи и посмотрел на небо, откуда, по мысли старого Митрохи, нас подслушивали невидимые всесильные нелюди. – Убить можно кого угодно. За это сёстры дают нам серебряные серёжки с самоцветами.

– Да хоть золотом, – ответил Митроха, тоже в полный голос.

Кирьяк покраснел от волнения.

– Меня девка умоляет! – крикнул он. – Плачет! Они обе второй день в доме сидят, выйти боятся!

– А кузнец? – спросил я.

– А кузнец – глухой! Он или в кузне, или спит! Как жена померла, он малость умом тронулся. Кстати, можем и его позвать, четвёртым. У него полный дом оружия...

– Забудь, – повторил Митроха. – Я раньше смерти помирать не хочу, и тебе не советую.

– Ну и ладно, – сказал Кирьяк, подумав. – Езжайте восвояси. Я останусь. Меня девка попросила. Что ж я за человек, если откажу?

Дед Митроха вдруг выругался чёрными скотскими словами и сплюнул.

– Не блажи, – сказал он. – Девок тебе мало? В другой селитьбе другую найдёшь, с такими же сиськами...

Но Кирьяк не таков был, чтоб сносить поносную брань.

– А ты когда в последний раз сиську мям? – осведомился он, надвигаясь на старика. – У тебя ж уд не маячит давно! Помереть боишься? – ну и бойся! А я – ничего не боюсь. Сам всё сделаю! Тут наши пути расходятся!

И я тогда не выдержал, тоже ругнулся, гадкими чёрными словами, предназначенными для обращения со скотиной, а никак не с людьми. И хотел толкнуть друга – но сдержался.

Смотрел, как он лезет в лодку и вытаскивает свой чувал.

– Прощайте, скоморошки! – ядовито сказал он, и отдельно посмотрел на меня, прожёг глазами. – И ты особенно прощай, брат лихой. Я думал, ты настоящий глумила, и ничего не боишься.

Он снял с шеи свой оберёг – петушинный клюв – и этим клювом размашисто начертил в воздухе руну удачи, подхватил чувал и ушёл в лес, по пути перепрыгнув затушенный костёр.

Я что-то вслед ему крикнул, и даже в сердцах палкой запустил; очень разозлился.

– Поехали, – сказал Митроха, подождав, пока я успокоюсь. – Он не пропадёт, догонит.

Но успокоиться не получалось, я едва не схватил вторую палку и не бросил в старика.

– Ты его видел? – спросил я. – Этого нелюдя – сокола? У него плечи вдвое против моих.

Если он захочет, он их всех перебьёт. И сестёр, и кузнеца, и моего друга.

– Птичеловеки не делают людям вреда, – сказал Митроха. – Лезь в лодку, мы уходим.

Самую большую нашу ценность – бубны – мы положили поперёк лодки, поверх остальной поклажи, чтобы в плохом случае быстрее всего прочего отвязать и вытащить.

Взяли по веслу, оттолкнулись – и берег резанский остался за моей спиной, вместе с жёлтым песком, кувшинками, вместе с клеверными лугами, цветочными полянами, вместе с громадной человеческой толпой, заключённой в тесный, орущий и опасный город.

Осталась за спиной сбывшаяся мечта.

Остался позади и лучший друг – но я верил, что ненадолго.

Кирыак, горячий малый, и раньше уходил, и ссорились мы часто и сильно, и дрались до крови, однажды он мне даже выдернул руку (мы тогда сразу побежали к ведуну, и он её легко обратно вставил), и целыми днями не разговаривали, и расходились, бывало, на всю зиму; но каждое лето воссоединялись непременно.

Он был мне больше чем друг – он был напарник.

Но он, Кирыак, дружила мой, попал в тот же силок, что и я.

Ему понравилась девка, и у него начался гон.

Для успокоения я налегал на весло что есть силы, пока мы не поймали стрежень; тут перевели дух, отложили вёсла, и я смог оглянуться.

Место, откуда мы отчалили, уже нельзя было различить в сплошной стене леса, подступившего к самой воде, а небо над зелёной стеной распахивалось шире, наливалось янтарным светом и раскатывалось, с востока на запад, длинными полупрозрачными облаками.

Несколько птиц парили в недостижимой высоте: соколы или ястребы, невозможно было понять.

Возможно, все они были оборотнями, птичеловеками.

Ласточки атаковали нашу лодку из-под песчаной кручи, длинной трещащей стаей, сделали предупреждающий круг и вернулись в гнезда. Возможно, и они тоже были оборотни.

Возможно, весь мир существовал по правилам, мне неведомым.

Я думал, что я знаю, как устроен мир, и понимаю его лад, как понимаю бубенную игру: четыре доли, потом ещё четыре и так дальше.

Я понимаю Коловрат, понимаю богов, понимаю кровавый обмен с ними, понимаю закон, понимаю четыре стороны света, понимаю счёт и рунные ставы. Я могу легко пересчитать новгородские куны в каширские. Я могу добыть волка, зайца, бобра и росомаху. Я могу почти всё.

Но часто оказывается, что мир устроен гораздо интересней, чем я думаю. И от этого интереса внутри возникает такой подъём, что кажется – взлечу, не хуже нелюдя, без всяких крыльев, одним только восторгом, сердечным трепетом.

Иногда тебе мнится, что ты – это ты, сам себе разумный человек, и точно знаешь, чего хочешь, и идёшь прямо туда, куда решил, – но вдруг происходит что-то, совсем от тебя не зависящее. Кто-то умирает, или кто-то влюбляется. Поистине, мы не хозяева своих судеб: всё решено за нас другими, более могущественными сущностями, а мы всего только горячие земляные дети, свободные так же, как свободны в своей игре щенята, ползающие возле мамки.

Настроенный на раздумья, я хотел было спросить у деда Митрохи, что он думает об этом, – но Митроха, словно почувствовав моё желание, вдруг затянул какую-то очень старую, незнакомую мне глуму, наполовину состоящую из бессвязных подвываний.

*Ишь ты, ишь ты
Много говоришь ты
Криво не насышь ты
Волчья сыть, травяной мешок
Ох ты, ох ты
Главное чтоб не сдох ты
Волчья сыть, травяной мешок
Ух ты, ух ты
Главное чтоб не стух ты
От большой натуги
От тугой подпруги
От худой супруги
Ох, эх, ух
Спёртый в доме дух
Волчья сыть, травяной мешок
Ах ты, ах ты
Чтобы не пропах ты
Ни вонючим страхом
Ни мертвячим прахом
Бей всегда с размахом
Волчья сыть, травяной мешок!*

Надтреснутый, севший голос Митрохи сначала не нравился мне, и я хотел было даже попросить старика заткнуться, но вдруг его унылое камлание забрало меня, – в нём, когда я вслушался, не оказалось никакого уныния, а был вызов и насмешка. Я снова взял весло. Старик продолжал тянуть глуму. Это была, очевидно, очень старая глума, из каких-то мохнатых древних времён его, Митрохи, юности, когда по земле текли медовые реки, а из степей приходили скифы в золотых шлемах, чтоб обменять коней и овец на дёготь и шкуры зверя.

В те времена, как я слышал, за такие дерзкие глумы князья и ярлы отрезали скоморохам языки и губы, или сажали в ямы и травили лесными кошками, а у кого были ручные змеи – отдавали змеям на корм.

Но бывало и по-другому: князь или ярл, вместо жестокой казни, отсыпал наглomu глумиле серебра столько, сколько держат две ладони, и отпускал с миром.

Митроха замолчал, но его глума продолжала гудеть в моей голове, как будто я её сочинил, – и до самого вечера я не произнёс ни слова, загребал веслом, глядел, как лосихи выводят к берегу детёнышей – попить тёплой речной воды, на белый свет полюбопытствовать.

12.

На закате нашли уединённый затон, пристали к скользкому берегу. Пока выволакивали нос лодки – извозили босые ноги в чёрном иле и сами извозились. После целого дня на вёслах я сильно устал, а Митроха и вовсе едва держался. Потом умылись, почистили локти и колени; наломали в прибрежной роще сухих еловых веток и раздули малый костерок. Наелись от пуза. Жаль, брага прокисла от жары, пришлось её вылить. Но остался хлеб, курица, ягоды.

Надо вам сказать, что курицу в городе Резане жарили очень неплохо, с большим количеством лука, чеснока и петрушки, и сверху вдобавок круто сдабривали солью. Вкус и дух этого харча, в горячем виде, описать невозможно: кусок пролезал в горло сам, как живой.

Но ещё приятней было жрать ту же курицу уже остывшей, спустя сутки после готовки, когда вышли и перемешались все соки.

Холодное мясо сытней горячего.

Особенно когда целый день налегаешь на вёсла, сидя в долблёной лодочке, с грузом.

Сидели, жевали, глядели в огонь, отгоняли комаров срезанными берёзовыми ветками.

Обглоданные кости бросали в воду.

Со дна затона здесь били студёные ключи, от поверхности веяло свежо и тревожно, как зимой из проруби. По чёрным корягам выползали из воды раки, шелестели клешнями, уходили обратно.

– У тебя жена есть? – спросил я.

– Была, – ответил Митроха. – Я зимовал у одной и той же бабы сорок лет подряд. Далеко отсюда. В Муроме. Потом ушёл.

– Почему?

Митроха подумал и ответил:

– Старый стал.

– А она? – спросил я. – Она – что, не состарилась?

– Состарилась, но по-другому. Она была ведьма.

– Ведьма? – спросил я. – И ты её не боялся?

– Конечно, – ответил Митроха. – В первый год особенно. К такому привыкнуть трудно. Она почти ничего не ела, и почти не спала. Ночами вокруг дома бродила, или уходила в лес, купаться в муравейниках. С непривычки это видеть нелегко, да. Сошлись мы, прямо сказать, случайно. Так вышло, что холода упали, а я застрял в Муроме и не нашёл зимовку. В селище ни одна баба взять меня не захотела. Я был знаменитый глумила, и люди меня опасались. Слушать – слушали, пляски плясали, платили хорошо, но чтоб в дом пустить – ни в коем разе. И вот, значит, уже вроде снегу быть – а я в Муроме. Ни родных, ни друзей, ни знакомых. Водой не уйти, на реке шуга. А меня никто зимовать не пускает, ни за какие новые куны. Три дня вокруг селища ходил, пока не нашёл выселки, а кто на выселках живёт? Только ведьмы. Как её звали – не скажу, она и теперь жива, незачем чужое имя трепать. У неё и остался. Она была сильно меня старше, да. Но на ощупь – ничего. Сразу сказала: если я хочу с нею честное дело делать – она всех других баб от меня отворожит, и каждую зиму я буду возвращаться только к ней. Я согласился. Не замерзать же в сугробе. Так и жили: летом я по городам хожу, работу работаю, а как холода – у ведьмы своей зимую. Жили очень сыто, я загребал серебро горстями, и всё что за лето собирал – приносил в дом, как положено у жены с мужем. А она, хоть и ведьма, тоже со мной, как с законным человеком: и стряпала, и обштопывала, и обстирывала.

Я едва удержался от улыбки: невозможно было поверить, что ссохшийся старик в выцветшей драной рубахе когда-то грёб серебро горстями.

– Значит, это она тебе богатство наведьмовала?

– Не наведьмовала, – поправил Митроха. – Насоветовала.

– Расскажи.

– Не буду. И так много говорю.

– Рассказывай, – потребовал я. – Раз уже начал.

– Ладно, – ответил дед, и почесал живот. – Тебе, молодому, эта наука, может, всю жизнь повернёт. Только уговор – потом не ругай меня за глаза.

– Не буду, – пообещал я, и поднял ладонь, в знак того, что моё слово твёрдое.

– Ведьма, – сказал Митроха, – посоветовала мне забыть про гульбища. И про большие бубны. И про малые бубенчики. Ты, сказала она, хоть и считаешь себя лучшим, но на самом

деле – дурак. Выбрось разноцветные порты, не ходи по праздникам забавлять толпу, не скачи в козлячьей маске, не дуди на сопелке, не води медвежат на ошейнике. Это всё, сказала она, низший разряд – а ты поднимайся в высший. Для начала – возьми новое имя. Потом купи мягкие сапоги, построй бобровую шубу, надень бронзовый перстень, и как придёшь в новый город – стучись только в княжьи ворота, и больше никуда. А при себе в мошне имей две-три новых куны, и если пускать не будут – сунь куну, тогда пустят. А как окажешься на княжьем обеде – потешных песен не пой, а затягивай побывальщины и сказы, из прошлых времён, про богатырей-змееборцев, про великанов, про Святогора. А сказы и побывальщины должны быть с ужасными подробностями, чтобы сам князь и его присные вздохнуть не умели. Сказы эти – сам сочини, причём так, чтоб звучало как чистая правда. И каждый сказ должен быть длинный, как волосы княжких дочерей, чтоб не рассказать ни за один вечер, ни за два. Чем длинней – тем лучше. Так тебя оставят при княжьем доме. А потом, сказала мне ведьма, – самое главное. Тебя начнут звать не на обеды, не на пиры – а на ряды. Не тот шут хорош, которого позвали на пир, а тот хорош, которого позвали на ряд. По вечерам князь уединяется с ближним кругом, с сыновьями, с дядьями, со злыднями, со старшинами, – сидят, рядятся, серебро делят, планы строят. А как устанут рядиться – позовут тебя. И тогда – лови удачу! Открывай самые наглые песни, глумись над всеми, дерзи, позорь, издевайся: над старшинами, и над злыднями, и над самим князем. Они это любят больше всего: когда им в лицо гадости выкрикивают. Это их поправляет. Это им помогает думать. Никто, кроме шута, князю правды не скажет. Если глумёж пойдёт, как надо – тебя побьют. Может, сильно побьют, рёбра сломают или пальцы. Или зубы выбьют. Придётся терпеть: избежать никак невозможно. Зато потом, когда устанут бить, – отсыпят серебром. У нас везде так: сначала бьют, потом награждают. Серебро спрячь, и продолжай жить подле князя, пока ему не надоест слушать твои сказы и твои глумы. А как надоест князю – тогда собирайся и уходи. Иди в другую сторону, к другому князю. Так посоветовала ведьма, и так я с тех пор много лет делал. Взял себе новое имя: Дерзун. И дела мои пошли в гору. Жизнь началась совсем другая. Летом, пока другие скоморошьи ватаги бродят по миру, с гульбища на гульбище – я сам по себе, на траве лежу, бездельничаю, силу набираю, сказы сочиняю, ем от пуза. Зато осенью, когда князья возвращаются из походов, – я надеваю шубу, нанимаю лодку и уезжаю дело делать. Дерзуна уже ждут: то коломенский князь, то вятский. Я и в Новгороде был, и у древлян. Били, конечно, везде. Оттого у меня и глаз косой, и зубов нет, и спина горбата. Помню, у полоцкого ярла во дворе был глубокий садок, а в садке жил сом-людоед, длиной в четыре сажени, и меня в тот садок бросили, и всех позвали смотреть, как этот проклятый сом меня глотать будет. Но уже стояли холода, сом наладился спать и мной побрезговал. То ли боги спасли меня, то ли моя ведьма почуяла и отшептала беду – не знаю. Так я за много лет всю землю объехал, везде меня привечали, везде мои сказы были по нраву. Слышал сказ про Горына – чудище неубиваемое?

– Слышал, – ответил я. – Говорят, это быль.

Митроха засмеялся.

– Ага, – сказал. – Быль. Это я сочинил.

– Врёшь.

Митроха ещё громче захохотал, скрипучим басом.

– Конечно, вру! Я ж глумила!

Хотел я в сердцах пнуть старика – заподозрил, что он, действительно, всё сочинил, и про князей, и про сома-людоеда. Поглумился над молодым наивным парнем.

Но вдруг услышал в небе свист.

Митроха тоже – поднял лицо и немедленно схватился за нож.

В один миг страх накрыл меня.

Страшно стало не от этого пронзительного свиста – а от того, как скоро и резко старик рванул с пояса медное лезвие.

Всё случилось быстро; я успел только обмочить порты.

Свист стал оглушительным, невыносимым. Возможно, я закричал, но не уверен – теперь уже не вспомнить.

Тень мелькнула над нашими головами, и что-то рухнуло прямо с неба в прибрежную воду; тяжело взлетели брызги.

Митроха лежал, закрыв одной рукой затылок, в другой руке блестел нож. Потом всё стихло.

Мы подождали – но ничего не происходило. Тогда поднялись – Митроха ножом раздвигал темноту – и пошли посмотреть.

У берега, на мелководе, лицом вверх лежал человек.

Я подошёл ближе и узнал Кирьяка, голого по пояс.

Страшная тоска овладела мной; я схватил его за волосы, за локти, вытащил на берег.

Нижнюю часть его лица заливала кровь.

Митроха оттолкнул меня, с неожиданной силой, и приложил ухо к груди Кирьяка.

– Жив, – сказал. – Дышит.

Он несколько раз ударил лежащего по щекам – тот застонал.

Испугались, что захлебнулся, перевернули и подняли ногами вверх, но вода – красная от крови – полилась только из ноздрей.

Стали открывать стиснутый рот – и нашли во рту оберёг, петушинный клюв.

Это клюв Кирьяк подвесил себе на грудь, на гайтане, давеча, когда мы с ним только собирались в Резан; когда поднесли Яриле положенную щедрую требу.

Теперь высохший и твёрдый, как камень, петушинный клюв чья-то безжалостная рука сунула моему другу в самое горло, и я, пока вытаскивал, вспотел от страха.

Но вытащил: и клюв, и гайтан.

Когда вытащил – Кирьяк захрипел, застонал, задышал и открыл глаза, и только тут я понял, что товарищ мой почти невредим.

Я хотел этот клюв тут же и выбросить, – но Кирьяк поднял слабую руку и помешал мне, схватил оберёг, прижал к груди; смотрел, как младенец, беззащитно.

Никогда прежде я не видел его таким: руки тряслись, глаза смотрели в никуда, и в них ничего не было, даже страха: только животное безмыслие.

Мы перетаскивали его к костру, растёрли грудь, потом спину, в четыре ладони. Митроха держал нож возле себя и всё оглядывался, смотрел в пустое чёрное небо.

– Может, костёр затушить? – предложил я.

– Без толку, – ответил Митроха. – Они в темноте видят.

– И как быть?

– Никак. Проси богов, чтобы нелюдь не вернулся.

Мы оглядели Кирьяка сверху донизу, внимательно, насколько это можно было ночью при свете костра, – но не нашли ни ран, ни порезов.

Нагрели в котле мёда, долго отпаивали, растирали – пока побитый не сел и не попросил поест: оклемался, значит.

Тут у меня, наконец, отлегло от сердца, и я схватил горячий котёл, в котором мёд грели, и на радостях выхлебал половину.

Не имел никогда друга ближе и верней, чем рыжий Кирьяк. Очень его любил: наглого, поджарого, резкого, совершенно бесстрашного, весёлого. Всегда прислушивался, всегда ценил, всегда оставлял половину от любой хлебной корки.

Горячий мёд ударил в голову, и вспомнились некоторые подробности наших совместных походов, отчаянные драки с превосходящими силами, молодухи, в которых влюблялись вместе и по очереди, скитания вверх и вниз по Оке и притокам, на плотах, на долблёных лодочках и просто пешком вдоль берегов.

Кем бы я стал без моего друга? Накопил бы на бубен? Научился бы бить в его горло?
Имел бы любовь, успех, славу, серебро?

Никто из нас ничего не добивается в одиночку.

Даже самые крепкие, самые упорные, самые яростные и нелюдимые – побеждают не сами по себе.

Если кто-то говорит вам, что всего добился сам, без чужой помощи, – не верьте.

У каждого есть, или был – отец, дед, друг, мать, жена, сестра или брат, приятель или товарищ, поделщик или напарник, советчик или подсказчик.

Без своего друга я бы не сочинил ни слова.

Без тех, кто нас окружает, без тех, кто нас любит, – мы ничего не значим.

Спустя время Кирьяк совсем собрался с силами, разум его остыл, и он смог рассказать, что произошло.

У него стучали зубы, и он прятал глаза, и всё время шмыгал носом; мне было неприятно на него смотреть, и я тоже – отводил взгляд в сторону или изучал собственные кулаки.

Кирьяк рассказал вот что.

Ночью Глафира, старшая дочь кузнеца, тихо провела Кирьяка в дом, в комнату старших сестёр, и они обе – старшая и средняя – показали парню дырку в стене, меж брёвен.

Через эту дырку Кирьяк рассмотрел в соседней комнате – у младшей дочери Марьи – незваного гостя.

В огромном доме кузнеца Радима было три комнаты, и почему старшие сёстры делили одну комнату на двоих, а младшая жила отдельно – Кирьяк не понял, и не спросил, но предположил, что так устроил сам кузнец: младшую, похожую на покойную жену, он любил больше старших.

Оборотень влетел в окно в виде птицы, а встал с пола человеком.

Окно имело высоту в полтора локтя, по величине бревна, а длину в руку – не такое большое, чтоб проскочил малый с сажеными плечами.

Он и она долго разговаривали и пересмеивались, но слов разобрать было нельзя.

Тогда Кирьяк снял с себя рубаху, вышел из дома и прокрался к окну снаружи: он решил перекрыть оборотню выход собственной рубахой. Если опасный гость не сможет вылететь из окна, его можно будет победить в открытом бою, на ножах. Такой был план у Кирьяка.

Митроха в этом месте переспросил:

– Ты хотел перекрыть ему путь рубахой?

Кирьяк молча кивнул; вид имел неуверенный.

– А потом, – уточнил Митроха, – ты собирался идти на него с ножом?

– Да, – ответил Кирьяк. – А что? Я по-другому не мог. Там возле дырки в стене сидели две девки и рыдали от страха и обиды. Этот оборотень, между прочим, красивый малый. И видно, что ему ничего не страшно: он всё время или улыбался, или смеялся.

Далее Кирьяк рассказал: как только он приблизился к окну и набросил рубаху – птице-человек тут же почувствовал опасность и выскочил вон. И ударил Кирьяка.

Удар был один-единственный.

– Больше ничего не помню.

– И хорошо, что не помнишь, – сказал Митроха и спрятал свой нож обратно в ножны. – Иначе ты бы обгадился, когда он тебя по небу тащил.

– А зачем, – спросил я, – он его притащил?

– Поберёг, – ответил старый Митроха. – Если бы бросил бездыханного – он мог бы помереть. А так – он его оглушил, а потом к нам доставил.

– А откуда он вообще про нас узнал?

– Он был на гульбище, видел нас вместе, понял, что мы – ватага.

– Значит, – сказал Кирьяк, – он сначала мне по башке дал, а потом – пожалел?
– Именно, – ответил Митроха. – Он бы убил тебя, если б захотел. Но не только не убил, но бережно друзьям вернул.

Кирьяк повертел в пальцах петушинный клюв и произнёс угрюмо:

– Гадать незачем. Я его сам расспрошу, когда поймаю.

– Хочешь вернуться? – спросил старый Митроха.

– Конечно.

– Я тоже вернусь, – сказал я. – Ответить надо. Закон есть. Он ударил – надо сдачи вломить. Иначе мы не ватага, а воровская шайка. Кровь за кровь.

– Нелюдь не пролил крови, – возразил Митроха.

– И мы не прольём. Поймаем, намнём бока и выгоним. И ты с нами.

Дед вздохнул. Ему явно не хотелось возвращаться, – но закон велел, а кто идёт против закона – против того идёт весь мир. Если не уравновешивать Коловрат – он слетит с оси, и всё погибнет.

13.

Да. Ну так вот.

Благодарю, что приютили. И за еду, и за питьё. Давно не спал так крепко, как после вашей браги. Забористая брага. Может, вы в неё чего добавляете? Да мне всё равно, я не в обиде. Добавляйте, что хотите, хоть мухоморы. Моё нутро лужёное, принимает любой харч. Я по полгода на берёзовой каше могу сидеть. Я даже ежей варить умею. Только скверные мяса не ем, падальщину всякую, мослы гнилые – к такому отродясь не подхожу. А остальное – пожалуйста.

Теперь, стало быть, начну вторую половину моего сказа.

На половине всякого дела всегда хорошо перевести дух. Сделал полдела – считай, сделал всё. Потому что если половину уработал – значит, так же и вторую половину осилишь.

Если в некоторые подробности моей побывальщины трудно поверить – не верьте. С тех пор, как это всё случилось, сто лет прошло. Кое-что из того, что в прошлые времена считалось обыкновением, теперь принимают за огульное враньё.

Но я никогда не вру, помните?

За враньё нас бьют.

Но сильнее бьют за правду.

Однако довольно жалоб; слушайте, что было дальше.

Рыжий Кирьяк имел здоровья в избытке; про таких моя бабка говорила: «об дорогу не расшибёшь». К рассвету он уже и на ногах стоял, и кулаки сжимал, и сопел гневно, рвался в путь, и выглядел, как всегда, бешеным и отважным, и глаза глядели бедово и упрямо. Только губы сделались тоньше, бледней, отчего всё лицо казалось старше.

Как именно напал на него птичечеловек, куда ударил: в лоб ли, в грудь, в ухо, в висок, – сказать не мог; лишь утверждал, что «сотрясся всем телом».

От того сотрясения у рыжего хлынула носом кровь; сам же нос остался невредим.

Следов удара мы не нашли, да особо и не искали. И так догадались, что нелюдь бьёт по-особенному, зверским, сволочным способом.

Как солнце встало – собрались и спустили лодку на воду.

Обратно плыли с остервенением.

Кирьяк сел вперёд, загребал веслом сильно, на полный замах, как будто не деревяшку в воду погружал, а меч во вражий живот.

Вода меж тем потемнела и сделалась гладкой, и установилась духота. Голая спина Кирьяка заблестела от пота, и сам я тоже взмок; рубаха затяжелела.

Подходила гроза, и хотя небо на все восемь сторон света оставалось чистым, я уже знал: к ночи громыхнёт буря.

Я тоже подчинился страстному порыву товарища, тоже напрягал руки. Лодка шла как по маслу.

Я не хотел мстить оборотню.

Но я был обязан.

Тогда, как и теперь, миром управлял закон пролитой крови.

На каждый удар должно содейть ответный удар.

Это был столь же старый, сколь и простой закон, восходивший к временам великанов, когда люди не умели добывать огонь и шить сапоги, и вооружались каменными ножами и деревянными острогами с костяными наконечниками.

Закон кровной мести на самом деле был тем, что отличало людей от животных.

Зверь не знает меры и тем более – справедливости; если его тронуть – он может умертвить; зверь никогда не соизмеряет силу удара с силой обороны. Зверь не рассуждает; он бросается и убивает.

Коснись пчелы – она тут же вонзит в тебя жало, не экономя сил.

Пойди на медведя – он разорвёт тебя без колебаний.

Пойди на рысь – она прыгнет и вонзит когти в твоё лицо.

И только люди, обладатели разума и рассудка, умеют соизмерять одно с другим, и на удар отвечают таким же ударом, на оскорбление – оскорблением, на войну – войной.

Я орудовал веслом и думал. Я полагал, что Марья в опасности. Малая девка – что она понимала в устройстве вселенной? Я боялся, что нелюдь утащит её куда-то к себе, в свои нети, в город за облаками – и там скормит своим детёнышам, или сделает что-то вовсе непотребное, чему нет названия в нашем языке. Приучит откладывать яйца или клевать мертвечину.

Мне казалось: если я старше, и больше видел, – я лучше знаю, как ей поступить.

Я понимал, что девки любопытны, что знакомство с оборотнем стало для Марьи в первую очередь приключением.

Дураки думают, что приключения интересуют только парней; враньё это. Настоящие ценители приключений – девки. Они возбуждаются быстрее и сильнее. Они отчаянны и бесстрашны. Они ненавидят ложь, малодушие и трусость.

Они любят прямых, сильных и щедрых. Потому что сами сильны и щедры.

Мы вернулись на прежний стан.

Здесь уже всё было разорено зверьём. Все наши объедки, куриные кости – либо сожраны, либо разбросаны; и в том месте, где я отмывал котёл речным песком, сидела лиса, томясь запахом жира: чует нос, да зуб неймёт. Увидев нас, зарычала, ушла с сожалением.

Духота меж тем усиливалась, стрижи летали над самой водой, и мы, все трое, не стовариваясь, разделись донага и искупались, чтоб охладить тела и головы.

Потом вытащили на берег лодку, извлекли поклажу, я раздул костерок; сели у огня, обсушая.

– Слушайте, – сказал Митроха. – То, что мы задумали, – небывалое дело. Изловить птичеловека возможно при двух условиях. Во-первых, нам должны помочь люди, а во-вторых – верхние боги. И те, и другие – на нашей стороне, потому что нелюдь первым нарушил закон. Оборотням нельзя якшаться с обычными девками. Это существо идёт против лада и ряда, и если накажем его – будем правы. А теперь, – Митроха посмотрел на Кирыяка левым, прямым глазом, – давай, расскажи ещё раз, что ты видел и слышал, так подробно, как сможешь.

– Видел мало, – ответил Кирыяк, собравшись с мыслями. – Слышал ещё меньше. Темно было. У Марьи в хоромине лучина горела, но от лучины, наоборот, хуже: где она есть, там светло, а где нет – ещё темнее. Оборотень большой, и внешне – точно как человек. На вид

– старше нас. Может, лет семнадцать или восемнадцать. А Марья той ночью сидела взаперти – кузнец её дверь снаружи заложил засовом. Потому что старшие сёстры ему всё рассказали. Кузнец не поверил, но дочь запер, на всякий случай. И ещё урок дал: мешок пшена перебрать. Чтоб, значит, время зря не потратила. То есть, у неё это пшено по всему столу ровным слоем лежало, и рядом крынка, чтоб порченное туда кидать. А нелюдь, когда прилетел, сел за тот же стол, против Марьи, и пока с ней шептался – он всё пшено, одной рукой, в темноте перебрал так быстро, что я даже не понял, как это у него вышло. А ей сказал, что зрение у него в тысячу раз острее, чем у человека...

Кирыак облизнул губы; воспоминания о той ночи явно не доставляли ему радости; но продолжал, хмурясь, обтирая потный лоб, и даже знаками показывал.

– Вблизи – гладкий, сытый, кожа как у младенца, ни волоска. Зубы ровные, что жемчуг, и такие же ногти. Одет в наборный доспех, только не боевой, а как бы праздничный. Ну, то есть, бывают такие доспехи, которые оружейник делает не для битвы, а для нарядного подарка, князю, или важному человеку. Пластины то ли бронзовые, то ли серебряные, искусной работы, и на каждой выдавлены руны, мне неизвестные. И когда шевелился – пластины не звенели, не скрипели, только переливались. И не то что шевелился – когда ходил по хорошине, не было слышно его шагов. Оружия при нём я никакого не заметил, даже малого ножа. Голос низкий, и такой сахарный, что если б я был девкой, то сразу бы растаял... Вот она, Марья, стало быть, и растаяла... Так на него глядела – я бы много дал за один такой взгляд...

Тут Кирыак посмотрел на меня и осёкся; но я сохранял спокойствие.

Я хорошо помню то своё состояние. Словно это всё было даже не вчера, а нынче утром. Помню, от Кирыака исходил запах буйства.

Помню, прилетел слепень, сел на моё запястье и хотел укусить – но я его убил.

Помню, высокое солнце нагревало мои плечи, как будто мать ладонями гладила.

Я считал себя не последним парнем.

Всё имел: силу, ловкость, удачу, весёлый нрав.

Повидал мир, ничего не боялся. Песни слагал, сказы сочинял, – кому угодно мог голову задурить.

Встретил девку, и решил, что лучше не найду. Удивительную, лучшую девку. Прекрасную.

И вдруг – возле той девки появляется некто. Мне не чета. Сильней меня, интересней меня. Соперник, каких мало. Пришелец, гость с неба. Исчадие неведомой заоблачной синевы.

Ещё раз повторю. Вы встречаете девку, о которой мечтали, – и вдруг возле неё возникает другой, чудесный, необыкновенный.

Слишком сильный, чтобы прогнать, слишком красивый, чтобы презреть.

Теперь скажите: разве это не был знак свыше? Не случай вмешательства посторонней, неодолимой силы?

Да, я считал себя лучше других; но пришёл тот, кто настолько же лучше меня, насколько сам я был лучше прочих.

Теперь, спустя сто лет, я наверно знаю, что не был лучше прочих; и тот оборотень, кстати, тоже был не лучше прочих.

Никто не лучше. Все мы рабы природы.

Когда дед закончил расспрашивать Кирыака, я, признаться, слегка упал духом и сказал:

– Понятно. Он оборотень, он взрослый мужик, он вдесятеро сильнее каждого из нас, на нём броня. Он движется бесшумно, всё слышит и всё видит. И мы собрались на него охотиться. Хорошая затея.

– Не охотиться, – поправил Кирыак. – Проучить. Это другое.

– А если он всё чует – почему не почуял тебя, пока ты за ним подглядывал?

– Потому что, – ответил Кирьяк, – он был поглощён кузнецовой дочкой. Смотрел только на неё, и слушал только её речи. Ты становишься таким же, когда её видишь.

– Это тут ни при чём, – сказал я, обозлившись.

– Хватит вам, – оборвал Митроха. – Слушайте теперь. Я был женат на ведьме и про нелюдей знаю довольно всего разного. Они сильнее нас, это правда. Но устроены так же. У них есть сердце, печень и прочая требуха. У них красная кровь, а в голове – мозговые узлы. Они, как и птицы, все разные: есть смелые и умные, наподобие воронов или орлов, а есть – поглупей, вроде кур или чаек. Они не болотная нежить, вроде мавок или шишиг. Они не зависят от луны. Их можно убить, можно покалечить, можно отвадить – если знать, как. Давайте решать, чего мы хотим. Убить – хотим?

– Нет, – хором ответили мы с Кирьяком.

– Изломать? Ранить? Кровь пустить?

– Нет.

– Тогда что?

– Поймать, – уверенно ответил Кирьяк. – Пригрозить и взять клятву: чтоб ушёл и не возвращался.

– Так, – сказал я.

– То есть, отвадить? – уточнил Митроха.

– Да, – снова хором ответили мы.

– Тогда, – сказал Митроха, – ты, Кирьяк, иди в дом кузнеца. Зови сюда старших дочерей. Поговорим с ними. Если хотят помощи – пусть всё бросят и приходят.

Кирьяк недовольно засопел.

– Не могу, – сказал, пряча глаза. – Рубахи-то нет у меня. Стыдно же. Я не раб и не вор. Как я без рубахи на люди пойду?

Тогда я молча снял с себя рубаху и протянул.

Друг мой рыжий благодарно посмотрел, оделся (рубаха была ему коротка и узка в плечах) и тут же бесшумно канул меж ореховых кустов, а старик посмотрел ему вслед и вздохнул.

– Дурни вы, – пробормотал. – Идёте туда, куда причиндал кажется.

– А ты куда идёшь? – спросил я.

– Я, – ответил Митроха, – давно пришёл. Только ты не поймёшь. Иди, волосья намочи и пригладь. Бабы придут, а ты лохматый; нехорошо будет.

14.

Сестёр звали Глафира и Лукерья. Я впервые видел их вблизи.

Чтоб не срамиться голым, набросил на плечи пустой чужал и выглядел, наверное, ушкуйником, лиходеем с большой дороги.

Девкам, впрочем, было всё равно: едва сев у нашего костра, обе заплакали.

Старшая – кровь с молоком, уже начинающая перезреть, – всё кусала полные губы, комкала платок в сильных пальцах и поправляла ожерелье на мощной груди. Кирьяк откровенно пожирал её глазами. Средняя, наоборот, была худая, остроносая, заметно, что вредная – но с заманчивым обещанием во взгляде и в жестах.

Если б я не видел Марью – я бы ухлестнул за средней, Лукерьей; сказать по чести, предпочитаю худеньких. А крупных, наоборот, всегда побаивался. Может, оттого что сам не богатырь.

Обе сестры, понятно, друг дружку не слишком любили, но уважали: когда одна начинала говорить, вторая замолкала.

И обе были живые, прямые, ладные, с тугими длинными косами. Красиво одеты, брови и глаза чуть подведены углём: не девки, а дорогие подарки.

У обеих на поясах висели малые ножи с дорогими резными рукоятками – что, в общем, было не совсем обычно для молодых девок, но объяснимо для дочерей кузнеца.

От духоты обе взмокрили и ядрёно пахли.

С собой принесли угощение: краюху хлеба и мёда малый туесок. Митроха, седой вахлак, это дело тут же стал уминать, а мы с Кирьяком воздержались, чтоб выглядеть перед гостями солидной и суровой.

Митроха задавал вопросы, – сёстры отвечали, не чинясь и не робея.

Голоса у обеих были звучные, а манера беседы – приятная, степенная, меж простых людей редкая.

Да, они пытались поговорить с Марьей. Но она не желала ничего слышать. Птиц любила с детства, и игрушки были всё птички, деревянные да тряпичные. Как зима – снегирей и синиц подкармливала. Не ела ни курицу, ни тетерева. А для первого в своей жизни летнего гульбища сшила себе кафтан голубки; четыре ночи не спала, пальцы иглой исколола. Немудрено, что потеряла голову от Финиста-сокола.

Сообразив, что упрямую глупынду не убедить, сёстры честно предупредили, что всё расскажут отцу. Марье было нипочём. Отец выслушал, поразмышлял, но в оборотня не поверил, – человек железного дела, он верил только в силу молота и в огненный жар горна. Однако дочь запер без жалости. Марья была последыш, любимая, во всём на мать похожая; кузнец с неё пылинки сдувал.

Но оборотень проник не в дверь – в окно.

Случилось ли у них честное дело – старшие сёстры не знали, но надеялись, что нет.

– Мы бы поняли, – сказала старшая, и взглядом обласкала Кирьяка, а тот, понятливый хлопец, ухмыльнулся браво.

– К волхву ходили? – спросил Митроха, дожёвывая хлеб.

– Разумеется, – ответила средняя, таким тоном, что я понял: она самая умная из трёх, и самая недовольная судьбой. – А что волхв? Он – старый. Посоветовал чеснок над дверью повесить. Тоже мне, совет! Ещё, сказал, верное средство – дожидаться неудобных дней, и вымазать нечистой кровью порог дома... – Тут средняя переглянулась со старшей, и обе, через слёзы, обменялись стеснительными смешками. – А нам некогда ждать неудобных дней, у нас каждая ночь – как последняя...

– А если к ведуну? – предложил Митроха. – Отшептать? Отворот поставить? Пробовали?

– Чтоб поставить отворот, – сказала средняя, – надо добыть прядь волос, или кусок ногтя, или хоть пуговицу. А у нас ничего нет. Только вот это.

И средняя, опять переглянувшись со старшей, сунула длинную тонкую руку в свою торбу, и положила перед нами на траву такую штуку, что Митроха, разглядев, обмер, и непрожёванный хлеб вывалился из его рта.

Это была скованная из бронзы труба длиной в локоть, сплошь изукрашенная, тончайшей работы.

С обеих торцов трубу запечатывали полированные, радужно отливающие хрустальные стёкла.

– Попробуй, – предложила Глафира, и протянула трубу Кирьяку. – Подними концом в небо, а в другой конец одним глазом гляди.

Кирьяк поглядел, нахмурился; помедлив, молча отдал мне.

Такой сложной и искусной приспособы я никогда не видел, и даже испугался; прежде чем взять в руки, торопливо отогнал большим пальцем нечистых духов.

Направил трубу одним торцом в небо, в другой торец – посмотрел.

По неумению и незнанию направил дальний торец прямо на солнце – и яростный свет ударил меня в глаз, обжёг, словно шмель укусил.

Я закричал, испугался, отшвырнул трубу, зажал глаз ладонью.

Старый Митроха захохотал надсадно; я бы ударил его, в приступе досады, но ничего не видел.

– На солнце смотреть нельзя, – мягко сказала Лукерья. – Сейчас пройдёт. Иди, водой смочи.

Но я, конечно, никуда не пошёл, слишком был изумлён. Однако глаз сам собой отдохнул, и спустя время я уже мог им видеть.

Стыдно было показывать слабость перед красивыми девками. Отмолчался.

Мы долго рассматривали трубу, глядя то с одного конца, то с другого, то на свет, то против света.

– Подзорные стёкла, – важно сообщил Митроха. – Можно видеть то, что недоступно простому глазу. Это его вещь? Оборотня?

– А чья? – спросила Лукерья. – Он Марье оставил, для забавы. Сказал, заберёт, как вернётся.

– Ладно, – сказал дед Митроха, снова умело взяв главенство в разговоре. – Всё, что вы сообщили, нам очень поможет. Спрошу напрямик: в чём его слабое место?

Сёстры в третий раз переглянулись.

– Марья, – сказала старшая. – Вот его слабое место.

– Она ему по нраву, – добавила средняя. – Мы всё сами видели. Любовь там, настоящая.

И таким тоном она произнесла это мягкое, горячее, сырое слово, так приподняла подкрашенные тонкие брови, что мне стало неудобно: девка тосковала по своему счастью и не стеснялась.

Митроха снова потянулся к мёду, – хлеб уже сточил, теперь обмакнул палец, облизал, едва не чавкая.

Тут до меня дошло, что он намеренно изображает дикого охламона, чтобы мы с Кирьяком – двое молодых – выглядели, с ним рядом, выигрышно, блестящими молодцами.

– А зачем, – спросил он, – такой сильный оборотень шастает к малой девчонке? Что в ней такого? Чем она его подманила?

Вопрос повис. У каждого был свой ответ. У сестёр – свой, у меня – свой.

Но никто ничего не ответил, ни я, ни сёстры. Митроха вздохнул.

– Добро, – сказал. – По обычаю, предлагаю подумать, как решить дело миром.

– Никак, – сказала средняя. – Пытались уже.

– Он ведь и сам не хочет биться, – продолжал Митроха, и кивнул на Кирьяка. – Он ударил нашего друга всего один раз. Не ранил, оглушил только. А потом ухватил – и по небу к нам принёс, и сбросил осторожно. Дал понять, что он нам – не враг. Думайте, девки. Может, не трогать нелюдя?

– Не выйдет, – ответила старшая. – Волхвы знают – весь город знает. Позора не миновать.

– Если нелюдь утащит Марью, – добавила средняя, – что скажут люди? Что мы, родные сёстры, всё видели – и смолчали? Не воспротивились?

– Вы богатые, – сказал я. – Богатым на пересуды плевать. Найдёте женихов в других городах.

Средняя, Лукерья, прожгла меня взглядом.

– При чём тут женихи? – трудно выговорила она, и подобрала колени к груди. – Ты думаешь, мы кто? Течные сучки? Мы – за сестру боимся! И за отца тоже! Мать умерла – он еле пережил! А если Марья пропадёт – что с ним будет?

Мне опять стало стыдно, я пробормотал извинения и отвернулся.

И подумал, что совсем, насквозь огрубел, скитаясь по разным землям в компании таких же грубых приятелей, и разучился вежливым речам; глумила, называется. Настоящий глумила с девками говорит тихо и складно, и улыбается, и шутки шутит.

Но стыд для того и дан человеку, чтоб себя менять, исправлять и к лучшему настраивать. И я, подняв глаза на Лукерью, извинился повторно, и дождался-таки короткой ответной улыбки.

Всё-таки они были хорошие девки, правильные, – и поступали как положено и заповедано. Пытались уберечь родную душу от непоправимой ошибки.

И мы сговорились, что этим же вечером, на закате, явимся в дом кузнеца и будем пробовать изловить страшного гостя. И в этом деле сёстры нам дадут полную поддержку. Впустят и помогут.

Сёстры ушли, забрав с собой трубу с подозрными стёклами. Старшая на прощанье так улыбнулась Кирьяку, что я от зависти едва не скрипнул зубами.

Дед Митроха наконец добрал из тuesка последние капли мёда и пошёл к реке умыться руки, а как вернулся, – сказал веско, сипло:

- Перемотайте обувь. Айда в город. До заката надо всё успеть.
- А чего нам в городе? – спросил Кирьяк.
- Втроём не справимся, – ответил Митроха. – Наймём птицеловов. Серебро при вас?

Снова пришлось прятать бубны в чаще, заваливать ветками, отмахиваясь от злых комаров.

Снова у привратной башни, в толкотне, в рёве быков и блеянии коз, мы сунули охраннику малую мзду, чтобы пропустил без вопросов.

Охранник презрительно глянул на меня, набросившего на голые плечи драный, штопанный мешок, – но ничего не сказал, сделал небрежный жест: проваливайте, пока целы.

Снова шли втроём, толкаясь в густой толпе озабоченных и праздных, молодых и старых, весёлых и угрюмых, чистых и замаранных.

Но поскольку я уже дважды побывал в Резане, причём побывал один раз трезвым, а второй раз – пьяным, то теперь ощущал себя местным жителем, и шагал, как прочие, уверенно и шустро, плечом вперёд. И с наслаждением понимал, что выгляжу – пусть и полуголый, прикрывшийся драниной, – настоящим горожанином, коренным резанцем. Затем, когда преодолел, следом за товарищами, половину пути, вдруг сообразил, что большинство тех, кто составляет уличную толпу, – такие же, как и я, пришлые гости, ловко изображающие коренных. Это легко читалось во взглядах, в выражениях лиц, в гордых, но чуть натужных ухмылках. Коренные резанцы были в меньшинстве. Они не шатались меж заборов, праздно попирая деревянные настилы, – они сидели по домам, по лавкам, по кружалам, они занимались делом, собирали куны, лысые и новые, новгородские и каширские, – с таких, как я. Это понимание развеселило меня и придало уверенности; если я вошёл в ворота робким новичком, то на площадь ступил упругим шагом старожил.

Далее Митроха потащил нас в сторону торговых рядов, и первым делом, сразу при входе, мы купили Кирьяку рубаху из крепкой ветоли, самую простую и самую дешёвую, поскольку куны наши все вышли; осталось только заветное, тяжко заработанное серебро.

Мою рубаху Кирьяк вернул мне.

В обновке он предстал красавцем, каких мало. И я порадовался за него, посмеялся даже.

Знали бы вы, как хорошо бывает порадоваться за любимого и верного товарища – много слаще, чем за себя.

Подступал вечер, зной становился нестерпимым; я обливался потом. Над плетёными, глиной промазанными, односкатными навесами, над жаровнями, над котлами с варёной тре-

бухой, над лохматыми и причёсанными головами, над разноцветной, гомонящей разными языками толпой реяло мутное марево.

Многие торговцы уже сворачивались, прятали товарец в мешки, чувалы, короба и корзины, укрывали дерюгами, увязывали кожаными и конопляными шнурами-верёвками. Но большинство собиралось стоять до темноты: место в торговом ряду обходилось в немалую цену, и если уплатил и встал – надо стоять, выжимать прибыль, иначе какой смысл.

Бабы и девки, одна другой краше, толкались у прилавков, мяли подушки, теребили полотно, перебирали костяные гребни, вертели в белых руках глиняную и деревянную посуду. В это время года – ближе к середине лета – наступал черёд хлопотать молодым хозяйкам. Выйдя по весне замуж, они теперь с законным наслаждением обустраивали по своему разумению горницы, обзаводились утварью. У большинства заметны были округлившиеся животы: замуж вышли в конце весны, но с женихами сошлись раньше свадьбы – эти приценивались к детской одежде, к одеялам-покрывалам; ходили по двое-трое, с подругами, с матерями; улыбались, жеманились, бранились, обмахивались цветными платками.

Под ногами путались огромные сытые коты.

Некоторые бабы, постарше и побойчей, оглядывались на моего рыжего друга, благосклонно улыбались: на такого ясноглазого, плечистого, да широким ремнём опоясанного, да конопатого, словно золотом обсыпанного, да в новой рубахе, – нельзя было не заглядеться.

Эх, ему бы в масть к рубахе новые портки, да хорошие сапоги, подумал я.

Миновав скобяные, гончарные, ткацкие, древодельные, скорняжные лавки, мы прошли пустой мясницкий ряд, где всё уже было закрыто и убрано, и только мухи жужжали над пропитанными кровью колодами рубщиков, и столь же пустой калашный ряд, где ещё веяло сладким духом свежеевыпеченных караваев, от которого у меня узлом скрутило нутро. Но летом даже в богатом городе Резане хлеб был не всем по мошне.

Птицеловы – двое – сидели отдельно. Жгли в малой жаровне еловые ветки, чтоб не отвращать прохожих запахом птичьего помёта.

В плетёных коробах и клетках, накрытые тряпками, томились дрозды, соловьи и жаворонки: все птицы до единой молчали, чуя близкую грозу.

Оба птицелова обликом были неотличимы друг от друга и походили на мертвяков, составших с погребальных кострищ: коричневые, местами покрытые коркой лица, шеи и руки, сплошь исхлёстанные крапивой, искусанные комарами, исполосованные птичьими когтями, изуродованные ударами клювов.

У того, что сидел ближе к клеткам, один глаз был выбит: обычное дело для птицелова.

– Какую птичку хотите поглядеть? – спросил одноглазый, криво улыбаясь.

– Лучше ты погляди, – негромко ответил дед Митроха, сделал мне знак, и я достал серебряную денгу.

Птицеловы напряглись.

– За такую цену отдадим всё, что есть.

– У вас ничего нет, – презрительно сказал Митроха. – Одни малые пичуги. Заплатим, если подрядитесь на промысел. Сегодня ночью.

Одноглазый посмотрел на своих и сказал:

– Ночью птиц не ловят.

Митроха коварно улыбнулся.

– А кто говорит про птицу?

И коротко изложил наш замысел.

Рассказ про оборотня совершенно не смутил чёрных мужиков: эти люди, проводящие всё своё время в самых глухих буреломах, верхом на кривых ветвях, в сотнях саженей от твёрдой земли, пропахшие гнилой трухой и еловой хвоей, не боялись никого и ничего.

Они подносили требу чёрному богу и слуге его, чащобному лешаку.

А кто подносит дары нижнему миру – тот и сам туда понемногу опускается.
Сговорились быстро. Птицеловы попросили половину вперёд: законный ход.
Мы подождали, пока они соберут свои клетки и корзины, и всей шайкой – пятеро деловых – отправились в меняльную лавку.

При входе, хоронясь в жидкой тени, стоял огромный гридь, оснащённый увесистым сажалом; он пустил за порог только двоих: меня и одноглазого птицелова.

Кирыак, Митроха и второй птицелов остались ждать на улице.

Деньга принадлежала мне, поэтому в двери лавки вошёл именно я. Хотя, наверное, лучше было бы доверить сложную затею опытному Митрохе. Но гридь сразу спросил, кто из нас подлинный владелец ценности, – и я шагнул вперёд.

В лавке от жары, духоты и волнения у меня закружилась голова, но я подышал носом и кое-как перемогся.

Меняла – жирный, белокожий малый с редкой бородёнкой, одетый в облегающий кафтанчик со слегка засаленным собольим воротником – сходу вежливо предложил обменять мою целую деньгу на другие две половины, уже загодя разрубленные. Однако я, не будь дурак, решительно отказался и попросил разрубить именно мою деньгу, причём непременно в моём присутствии. Меняла не стал возражать: ушёл в заднюю, особную хоромину, с усилием отворив низкую дубовую дверь.

Я впервые видел в доме такое обилие дорогостоящего железа. Оконце закрывала частая кованая решётка – голову не просунуть; рядом с дверью висел на петле тяжёлый засов, а сама дверь была по углам обложена треугольными пластинами. Всё железо тускло блестело, недавно натёртое салом, – чтоб не ела ржа.

Меняла вернулся: принёс особую каменную наковаленку, зажатую в крепкую деревянную оправу, и топорик с полированной рукоятью, и увесистый медный молоток. Положил мою деньгу на плоский камень, утвердил точно поперёк деньги лезвие топорика, и по его обушку умело, резко шарахнул молотком, разъяв серебряную ценность на две части. И тут же бросил обе половинные деньги на весы, и ткнул гладким розовым пальцем:

– Ровно.

За такую услугу платить не полагалось. Любой меняла в любой меняльной лавке, хоть в Резане, хоть в Муроме, был обязан по первому требованию владельца разделить целую деньгу на две, на три, на четыре, на восемь частей. За такой навык меняле благоволил лично князь, или ярл, или родовой старшина – тот, на чьей земле меняла действовал.

Куны лысые и новые, половинные и четвертинные, новгородские и каширские, а также медь, олово, бронза, железо, серебро, не говоря уже о золоте, скифском и ромейском, – если меняла хорошо в этом понимал, торговля вокруг него шла бесперебойно. А где торговля – там прибыль и процветание. Поэтому хозяйство менялы день и ночь стерегли княжьи оружные люди. Поэтому за покушение на менялу в любом городе и в любой селитьбе полагалась немедленная прилюдная казнь.

По привычке я тут же сунул обе половинные деньги за щеку – по-другому не умел – и кивнул одноглазому птицелову: выходим.

Снаружи, кажется, стало ещё жарче. Площадь опустела, люди попрятались. На окнах закрывали ставни. Ждали бурю. Бабы спешили снять с верёвок сохнувшие тряпки, чтоб не унесло. Небо сделалось пустым, прозрачным, и с востока уже понемногу напозла чёрная пелена.

Я отдал полденьги Митрохе, а тот протянул птицелову.

Мы пошли было прочь – но нас окликнули.

Через пустую площадь к нам торопливо шагал старый знакомец: мальчик Велибор, одетый в домашний кафтан из мягкой тончины.

– Здрaвы будьте! – кричал он, улыбаясь излишне широко. – Хорошо, что я вас отыскал! Мы вежливо поклонились.

Велибор смотрел на нас, как на кудесников, или даже как на богов, с восхищением и восторгом, снизу вверх, и мне показалось, что если я протяну руку – он её облобызает.

Скажу вам, братья, – мы, глумилы, живём именно ради таких взглядов, ради сияния в чужих глазах. А что платят нам серебром – это второе дело. Никаким серебром не измерить людское уважение.

И если б я за свой редкий навык не получал никакой платы, а только человеческое восхищение – я бы и в таком случае не остался внакладе.

– Хотел ещё раз поблагодарить, – сказал мальчик Велибор, вдруг покраснел и поклонился с большим изяществом. – Гульбище вышло чудесное! Все мои друзья до сих пор обсуждают! Такого угара я не ожидал! Вы – великие умельцы.

– И ты молодец, – степенно ответил Кирьяк и поправил рукав своей новой рубахи. – Но мы спешим. Извини, друг.

Велибор посмотрел на наших спутников – птицеловов; те скромно держались позади нас и не выпускали из рук своих клеток. Их чёрные лица ничего не выражали.

– Хотите новый урок? – спросил Велибор. – На проводы лета?

Митроха солидно кашлянул.

– Боюсь, не выйдет, – сказал он. – Нас в другом месте ждут. Заранее договорено.

И развёл руками с таким глубоким сожалением, что я и сам ему почти поверил.

– Где бы ни ждали, – сказал Велибор, – я дам вдвое больше.

Я сглотнул густую слюну.

За всеми страстями по кузнецовым дочерям да по оборотню Финисту я совсем забыл, кто мы есть.

А мы были не охотники за птичеловеками, а только шуты-скоморохи, чья участь – бить в бубны, горланить срамные песенки и веселить народ честной.

Вдалеке, у самого края неба, наконец тяжко гроыхнуло, как будто всесильный повелитель грозы, хозяин небес швырнул огромный валун в ещё более огромный медный котёл, чтоб сварить и съесть; ведь он, бог молний, хозяин неба, всё может – значит, и камни жуёт. Я испугался, и пот хлынул по моей спине. Не на меня ли направлен небесный гнев?

Боги не любят, когда люди берутся не за своё дело.

Не бросить ли нам нашу затею, не отнять ли серебро у черноликих птицеловов, не убраться ли восвояси, подальше от города Резана?

Но нет; решили уже. И я, и моя ватага – мы были в своём праве.

Если просят о помощи – надо бросать всё и помогать.

А если так не делать – Коловрат слетит с оси, и мир провалится в бездонную пропасть.

Велибор ждал, смотрел искательно.

– Подумаем, – солидно сказал ему Кирьяк. – Мы тут ещё задержимся. Если решим – придём завтра, и сговоримся. Но осенью будет дороже, сам понимаешь.

– Ничего, – беззаботно ответил мальчик Велибор. – Осилит!

Он опять поклонился и ушёл.

– Ишь ты, – пробормотал Кирьяк. – Осилит он. Силён богатырь отцовы деньги тратить.

– Завидуешь? – спросил я.

Кирьяк захохотал.

– Дурак я что ли – завидовать? Я – удивляюсь! Кто удивлён – тот счастлив!

Хлопнул меня по загривку, чтоб подбодрить, и зашагал, аршинным резким ходом, к устью улицы, явно тоже обрадованный восхищением в глазах мальчишки-заказчика.

И запел во всё лужёное молодое горло нашу с ним любимую, на двоих сложенную, глуму:

*Мы не сеем и не пашем,
Просто так мудями машем!
И куда ни попадя
Разлетаются мудя!*

В посаде, в отдалении от городской стены, меж неказистых, вросших в землю домишек с серыми, перепревшими на солнце соломенными кровлями, птицеловы попросили нас обождать, свернули за кривой угол: здесь, у какой-то бедной старой вдовицы, или у бобыля, или у дерзких воров в притоне, или просто в сараюхе у покладистого хозяина, они держали временную кладовку, где хранилось их имущество и где теперь они спрятали клетки с птицами; да и серебро, конечно. Не таскать же с собой.

Обратно вернулись с торбами через плечо, и от обоих крепко пахло брагой: понятно, что в кладовке у них и выпивка была припасена, и закуска.

Нам не предложили.

Кто уделяет нижним богам – тот не бывает ни добрым, ни щедрым, ни участливым. А главное – таких ведь и не упрекнёшь.

Это как с погаными степняками, сарматами, пачинаками и прочими едоками мамалыги. Вроде такие же люди, два глаза, две ноздри, снизу – ноги, сверху – темя, в середине – живот; а поговорить не о чем.

Так, в безмолвии, не враждебном, но отчуждённом, мы дошли до кузнецова хозяйства.

Здесь тоже всё было закрыто на засовы и закупорено – только слабо светилося жёлтым лучинным светом Марьино окошко, обращённое на восток.

Кузнеца мы не боялись; люди его ремесла просыпаются и раздувают горн задолго до рассвета, чтобы работать в прохладе. Заканчивают в полдень, а спать ложатся – во второй половине дня.

Но даже если бы хозяин, пропитанный копотью, вышел к нам и спросил, кой ляд мы шастаем вокруг его вотчины – мы бы прямо сообщили, что ловим нелюдя. Никто не будет прогонять со своего порога охотников за оборотнями. Наоборот, могут и пожрать вынести, и выпить.

Темнело, и тучи напоззли на небо, словно отравили его; у меня дрожали руки, и я понял, что обязан содейть одно главное, последнее, самое важное действие.

Одноглазый птицелов, сопя и перешёптываясь с напарником, внимательно осмотрел двор и дом, затем сбросил торбу на траву и сказал тихо – словно листва прошелестела:

– Сокола хорошо ловить в кутню, или в колпак. Но времени нет. Мы растянем сеть, а потом пойдём в лес: найдём приваду. Подвесим голубя, или – филина. Филинов все птицы ненавидят. И ещё учтите: сокол – птица благородная, он сверху бьёт. Он упадёт, как камень. Готовьтесь.

– Зачем привада? – возразил Митроха. – Он к девке прилетит. Девка и есть – привада. Вон её окно. Ваше дело – уловить, а мы – спутаем и побьём. Ставьте тенёта.

И оглянувшись на нас с Кирьяком – а мы согласно кивнули, хотя мало поняли; и я сообразил, что теперь самое время подать голос.

– Как хотите, – сказал я, – а Марью надо предупредить.

* * *

Птицеловы уже вытаскивали из торбы свои сети, хитроумно сложенные; вид этих сетей меня неприятно поразил; они были темны от крови.

– Марья знает, – негромко возразил Кирьяк. – Сёстры наверняка рассказали.

– Может, рассказали, – возразил я, – а может – нет. А я – расскажу теперь. Иначе выйдет нечестно.

– Не надо, – сказал Митроха. – Не ходи в дом. Будет лучше, если она не узнает.

– Кому – лучше? – спросил я.

Митроха промолчал. Но не промолчал Кирыяк; я такого от него не ожидал.

– Не ходи, – сказал он. – Испортишь дело.

– Зато себя не испорчу, – ответил я. – И тебя заодно, как товарища. Или ты мне не товарищ?

Я видел: рыжий Кирыяк не уверен в успехе затеи. И старый Митроха тоже.

И птицеловы, может быть, тоже не были уверены в успехе – но им было заплачено.

И я, и старик Митроха, и дружила мой Кирыяк, и черноликие мужи скверного ремесла – понимали, что нелюдь, если захочет, легко убьёт нас всех.

И, далее, может убить и сестёр. И кузнеца.

И разнести по брёвнышку весь его дом.

Но птицеловы получили деньги, мы с Кирыяком – дали сёстрам честное слово, а Митроха – согласился не только соучаствовать, но и возглавить.

С одной стороны, это было опасно и даже, наверное, глупо. С другой стороны – настоящая охота и есть драка с неизвестным концом. Кто кого? Пятеро обыкновенных, с сетями, ножами и дубинами, – или один необыкновенный?

Бить в бубен – тоже охота. Погоня.

Спеть песню, прочитав быль, откричать глуму – всё есть охота, преследование восторга.

И я отправился к дверям кузнеца дома, постучал осторожно, согнутым пальцем, и спустя малое время дверь открылась, словно меня ждали.

Обе старшие сестры стояли за порогом, обе – с ножами в руках, бледные и решительные.

– Позовите Марью, – попросил я шёпотом.

– Пройди, – ответила средняя и отошла вбок.

Я вошёл.

Дом был огромный и сложно устроенный. На глаз, он был собран уже как лет сто, из громадных, в полтора обхвата, небрежно обтёсанных – теперь так не делают – брёвен. В передней части – горница, очаг из мощных, чёрных от копоти валунов, от них ещё исходил тонкий ток тепла: дрова жгли совсем недавно; над очагом – широкий дымник, по стенам в два ряда – полки с посудой. В задней части – три особых хоромины, разделённых перегородками из более тонких брёвен. В таких домах всегда очень сухо и нигде не бывает ни пятнышка плесени. Мох, которым были на совесть пробиты щели, высох и омертвел задолго до рождения сестёр и обратился в белёдые, тут и там торчащие пучки волокон.

Густо пахло земляным прахом.

Свет давал единственный глиняный жирник, стоявший в середине большого, чёрного от времени стола.

В ближнем углу, в плетёном заплоте из ивовых прутьев, проснулся новорожденный козлёнок, зашуршал соломой и снова заснул: детёныши животных сразу чувствуют чужаков.

И вот: увидел я, что пол в доме, забранный старыми, потемневшими полубрёвнами, был сплошь исчерчен охранительными рунными ставами, нарисованными углём и кровью: здесь были руны-берегини, и руны крови, и руны воина, и родовые, тайные руны неизвестных мне очертаний. И я оробел шагав прямо по знакам, двинулся вдоль стены, обочь, и прошептал про себя заклятие от нижних богов и их присных: «Щур меня – щур меня – бери небо – не бери земля» – и глубоко подышал носом, чтобы воздух – главное питание человека – наполнил меня верой в правду того, что я задумал.

Средняя сестра показала мне подбородком на дверь Марьи.

Я постучал в дверь.

Марья открыла. Увидев меня, подняла брови.

Она ждала другого гостя, и это понимание наполнило меня горечью.

Разумеется, она про меня уже и забыла.

– Кто тебя впустил? – спросила она негромко.

– Твои сёстры, – ответил я. – Дело важное. Надо поговорить.

– Войди, – сказала Марья. – Пить хочешь? Есть?

– Ничего не хочу. Я ненадолго.

Её хороминка была мала размерами: кровать, да стол, да обтянутый кожей сундучок с девичьим добришком, да короткая полка, где сидела в одиночестве соломенная куколка-мотанка, облачённая в лоскутное платье: у каждой девки в комнате всегда есть такая куколка, любимая, сохранённая в память о цветном детстве.

Имелись тут и признаки достатка: пол сплошь устилали мягкие овчины – такое я видел только в богатых теремах, – а посреди стола отсвечивало медное блюдо с искусной чеканкой по краям; и горка свежей земляники лежала на том блюде. Слезы навернулись мне на глаза: в моей родной селитьбе землянику ели только малые девчонки; так уж было принято. Самую сладость отдавали девкам, а парни да взрослые в основном жевали щавель.

А рядом с медным блюдом на том же столе лежала труба с подозрными стёклами: страшная диковина из чуждого мира.

На стене, на распялке, висело платье голубки – в нём Марья вышла на гульбище, а теперь, видимо, продолжала уснащать, добавляла нарядного шитья по вороту и рукавам.

Не желая того, я покосился на стену – где-то там была дырка, проделанная сёстрами. Конечно, они и теперь подсматривали, но мне было всё равно.

Марья выглядела сонной, усталой, но спать не собиралась, косу не расплела: ждала.

– Сегодня ночью, – тихо сказал я, без предисловий, – мы будем ловить твоего Финиста.

Лицо Марьи сделалось злым и гордым.

– Ловить? – спросила она. – Зачем?

– Он напал на нашего друга.

– Ваш друг напал первым.

– Он не напал. Только собирался.

Марья улыбнулась так взросло, с таким превосходством, что я на миг пожалел, что пришёл.

– Вы, – сказала она, – его не поймаете. Не сможете. Он сильнее вас всех.

– Он – нелюдь. Зачем ты с ним связалась?

– Ты ничего про него не знаешь. Это первое. А второе – какое твоё дело, с кем я связалась?

– Нет у меня, – ответил я, – никакого дела. Только чувство есть.

И посмотрел ей в лицо.

Она отвела глаза.

– Лучше уйди, – прошептала. – И скажи друзьям, чтоб ушли тоже. Нападёте на него – пожалеете. Вы не знаете его силы.

– Уйти, – ответил я, – проще всего. – И с шёпота вышел в голос: – Но мы не уйдём. Это не лично я хочу – это ватага решила. Твой дружок против закона встал. Оборотни живут особо, люди – особо. Ты не дура, должна понимать. Если мы не накажем его – другие накажут. А те не накажут – так третьи явятся. И так будут наказаны все, кто встаёт против лада и ряда.

Марья улыбнулась слабой улыбкой; нездорова, подумал я встревоженно.

– Как, говоришь, тебя звать?

– Иваном.

– А второе имя?

Я помедлил, и надежда на малый миг затеплилась в груди.

Если девка спрашивает про второе имя – значит, всерьёз интересуется; значит, выделяет из прочих.

– Корень, – признался я, снова перейдя на шёпот. – Моё второе имя – Корень. Однажды из меня, как из корня, выйдет новый род. И дети мои заполнят мир. Так я решил.

– Иван-Корень, – произнесла Марья слабым голосом. – Ты хороший парень. Слушай меня. Нет никакого лада и ряда. Мир не движется по кругу, и нет у него никакой оси. Вернее, ось есть, и не одна; их – неисчислимое множество. И наш закон – лишь малая часть другого, большего закона. А тот закон – часть ещё более великого закона. И мы, люди, счастливы, только если направляем жизнь, чтоб открывать один закон за другим и обращать эти открытия себе в пользу. И богов тоже нет, а есть только законы...

Из того, что сказала эта маленькая зеленоглазая девка, я понял не всё – но понял главное.

– Мало того, что он нелюдь. Так он ещё и кошунник! Запутал тебе голову!

– Он – нелюдь только потому, что ты его так назвал. А я – знаю другое. Он такой же, как и мы. Только больше помнит. И народ его – такой же, как наш народ, только много древнее. Люди его народа умеют летать. Они живут в городе над облаками и ни в чём не знают нужды. Их дети не умирают. А дети моей матери – умерли... Из четырнадцати – выжили только мы трое...

При свете лучины я увидел, что лоб Марьи покрылся каплями пота.

– Ты нездорова, – сказал я.

– Нет, – ответила Марья, улыбнувшись через силу. – Это сёстры. Они опоили меня. Сонного подмешали в воду, я по вкусу поняла. Они думают, вы с ним справитесь. Но ваше счастье в том, что он вас не тронет. Может быть, ушибёт, как ушиб твоего рыжего друга...

– Пусть, – сказал я. – Мы, глумилы, отродясь ушибленные.

– Ты смелый, Иван-Корень, – сказала Марья. – Но ты с ним не совладаешь. Ему пятнадцать лет, а он знает больше, чем самые старые волхвы. Он пел мне песни на языках народов, которых давно не существует. Уходите, не трогайте его. Если хоть один волос упадёт с его головы – я прокляну вас всех. Они... Эти люди за облаками... Они называют нас – «дикие племена»... Или – «бескрылые»... Им нельзя причинять вред бескрылым... Это всё равно что ударить младенца... Так он мне сказал...

Головой я понимал, что мне лучше уйти. Но какая-то сила прижала мои ступни к полу девичьей горницы.

– Бескрылые, значит, – сказал я. – Вот оно как. Бескрылые! Чего ж он, такой весь из себя крылатый, связался с бескрылой девкой? Может, врёт он тебе? Глумится? Зачем ему веришь?

– Затем, что сама видела... И я не дура, правду от кривды отличаю...

Марья присела на постель, стискивала руки, улыбалась слабо, бормотала бессвязно.

– Он сказал, что люди есть сосуды счастья... они созданы, чтобы летать по небу и петь красивые песни... Ты – скоморох, ты должен понять... Меж людьми и птицами лишь одна связь... И те, и другие – умеют петь...

И она, глядя в сторону, запела тихо, как бы младенца укачивала в колыбели.

*В воздухе, в воздухе
В великом роздыхе
В вертограде праведном
Ни золотом, ни каменном
Высоко за облаками
У богов под боками
Живёт птица малая
Ни рябая, ни алая
Ту птицу не догнать*

*Ни спутать, ни поймать
У ней серебряные перья
Только в это не верю я
Пока не подойду ближе
Да сама не увижу...*

Такого диковинного, изошрённого песенного лада я не слышал никогда и нигде, и стоял, как вкопанный, посреди тесной девичьей светёлки, не зная, куда деваться.

И ничего не хотелось, кроме как – чтоб маленькая девка пела дальше и дальше.

Но она замолкла и медленно легла на постель, поджав ноги.

– Может, воды тебе? – спросил я.

– Ничего не надо. Уходи, Иван-Корень. Пожалуйста... И друзья твои пусть идут... Целей будут...

– Прости, – ответил я, – мы уже не уйдём. Сеть натянута. Услышишь шум – знай, что это мы. Прощай.

Она уже спала.

В тот миг я уяснил, что должен исчезнуть.

Иногда бывает: приходишь куда-то, в чужой дом, в чужой уклад – и понимаешь, что ты лишний.

А пришёл вроде с добром, с участием, или с выгодой, или потому что позвали – но, побыв малое время, осознаёшь, что звали зря, и выгода не нужна, и даже добро не нужно. И лучшее, что можно придумать, – немедленно уйти.

И я ушёл.

Повернулся, закрыл за собой дверь, тихо прошагал – снова вдоль стены – через просторную горницу; какая-то из сестёр, средняя, наверное, что-то тихо спросила мне в спину, но я только рукой махнул; отворил вторую дверь, главную, тяжёлую, и затворил.

А под чёрным, низким небом уже собиралась буря, какие редко бывают.

Воздух звенел.

От жары и духоты голова сделалась дурная и одновременно очень ясная, и показалось, что кто-то – бог, наверное (кто же ещё?) – хочет поселить в моём разуме какую-то важную догадку, о том, кто я таков на самом деле и как устроено всё вокруг меня.

О том, что мой хребет и есть мировая ось. Или о том, что люди – те же птицы, только вывернутые наизнанку. Но я был слишком напуган, и не запомнил той догадки.

* * *

Да, я – Корень, таково моё второе имя, заветное; самым мною выбранное.

Вот, пришёл миг признаться и открыть себя всего: извините, если смутил.

Скажите, оно слишком звонкое?

А я, наоборот, думаю, что скромное.

Не звонче, чем имя «Велибор», что значит: побеждающий весь мир, велящий всем.

А я никогда не желал никому велеть, никого покорять, или подчинять, или побеждать, или торжествовать, или владеть.

Я хотел, чтоб вокруг было больше любящих меня и мне благоволящих.

Первое имя дают мать с отцом, а второе – я сам себе дал, в день двенадцатилетия, по древнему обычаю, на требище, в огне костра, в кругу морщинистых волхвов.

Я не знаю, как у вас, нынешних, – а у нас, сто лет назад, второе, заветное имя означало понимание своего места в бренном мире, и своих главных, истинных желаний.

Человек рождается многожды.

Сначала – в первый, изначальный раз, выпрастываясь из родовых путей своей матери, а потом, спустя десять или двенадцать лет – ещё раз, и ещё, и ещё: многократно, понемногу, кон за коном осознавая сначала людей вокруг, потом мир вокруг, потом себя в мире, потом людей в мире; и крепчайшие из нас, дожив до двухсот годов, умирают, хохоча от запредельного веселия, ибо смерть – это тоже рождение, только вывернутое наизнанку.

Моим главным желанием было – основать новый род, окружить себя потомством, внуками и правнуками, многочисленными отпрысками.

Я никогда не видел своих дедов, а отца – с трудом помню.

Деды мои сгинули, отец погиб – в моём народе смерть обычна, как снег или дождь.

И потому я всегда мечтал, чтоб вокруг меня ходили, бегали и ползали младенцы моего корня, семя от моего семени.

Льняные, лёгкие, свежие, спокойные. Родные.

Без страха – но и без чёрной звериной дури.

Без глупости – но и без ядовитой тайной мысли.

Теперь мне сто девятнадцать лет. У меня получилось. Моё имя многократно умножено.

Моя кровь течёт по моей земле, обращаясь в благодать.

Моё семя сбрасывается в мою веру.

Мои жилы намотаны на мировую ось – слышите, как звенят, изнемогая?

Моё счастье укупорено в мой язык, в мои песни: пойте их.

Запомните меня старым, кривым, беззубым – и весёлым.

Смейтесь надо мной, ибо я ваш корень.

Не родите детей в душных горницах, родите их среди кривых раkit и прямых осин, под синим небом, под белыми облаками, под золотой деньгой солнца, на той земле, по которой шагали ваши шуры и пращуры, смеясь и наслаждаясь.

Пойте песни, смейтесь и радуйтесь.

В крошечной темноте, во дворе кузнецова хозяйства, я совсем не увидел растянутой сети, как ни приглядывался; птицеловы туго знали своё дело.

Но мои чувства были обострены, я понимал: сеть – вот она, над моей головой, готова, звенит от напряжения, как и я сам.

Некоторое время я стоял, оглядываясь и не понимая, что делать. Всё вокруг безмолвно замерло в грозном предощущении, и я стал мечтать, что вот, разразится буря, с молниями, с ветром, сшибающим с ног, – и не прилетит оборотень, побоится, отменит визит, и ничего не будет: ни охоты, ни драки, ни крови.

Но я бы прилетел.

К такой девке, как Марья, – прилетел, прибежал бы, приковылял, в любую, самую жуткую непогоду, хоть конец света наступи, хоть разразись рагнараёк, или как там он называется у бессердечных свеев, пьющих рыбью юшку.

Услышал тихий свист: это Кирьяк меня звал.

Они ждали за углом: четверо бесшумных.

На миг мне показалось, что у птицеловов горят глаза: нехорошим, зелёным светом, словно болотные огни мерцают ядовито.

– Пошли, – прошептал старый Митроха. – Осталось последнее дело сотворить.

Я уже понял, какое.

Они двинули вперёд, я – следом.

Зарница полыхнула над головой, осветив деревья и спины идущих впереди моих друзей.

Шли быстро, спешили. До полуночи оставалось совсем ничего.

И вот: треснул мир, и первый настоящий удар грома заставил меня задрожать и вжать голову в плечи.

Ветер прокатился по верхушкам деревьев: ледяной, тугой, яростный.

Мы шагали на тот же холм, где позавчера играли гульбище.

Конечно, нам был нужен холм; чем выше – тем лучше.

Ветер налегал.

Мы поднялись на утопанную, лысую вершину, и под моими ступнями захрустели угли давно потухших праздничных кострищ.

Здесь одноглазый птицелов вытащил из торбы деревянную колоду длиной в полтора локтя: это был редкий предмет – малый требный идол, истукан чёрного бога, вырезанный из полена, выскобленный ножом и тщательно завёрнутый в рядно.

Черты его лица я не разглядел во мраке – только глазницы, вырезанные глубоко и посаженные близко друг к другу: чёрный бог, как все знают, косоглаз.

Нижняя часть колоды была заострена: таких истуканов берут с собой князья и ярлы, отправляясь в походы; перед малыми идолами они вершат требы вдали от родины, в степях, в края булгар, хазар, сарматов и тюрков.

Одноглазый размотал рядно и с размаха воткнул истукана нижним концом в землю, более или менее крепко; отошёл в сторону, посмотрел, затем вернулся и утвердил ещё раз, обратив круглую шалыгу истукана точно вверх.

Второй птицелов что-то прошептал первому, но что именно – я не услышал.

На мою вспотевшую голову, на голые руки упали первые, твёрдые капли дождя.

Тьма была – хоть глаз выколи, но я видел всё, а чего не видел – о том догадывался.

Настала очередь второму птицелову размотать свою торбу.

Он извлёк живую птицу.

Ворона.

Полузадохшегося, спутанного тесьмой.

Это был крупный, в аршин, и, видимо, очень старый и сильный ворон, с клювом, способным пробить человеческий череп.

Ужас обуял меня, плечи намокли от падающей с неба холодной воды, и я открыл было рот, чтобы крикнуть, возразить, воспрепятствовать, и, может быть, я даже действительно крикнул что-то бранное – но кривая бешеная молния прочертила небосвод прямо над моей головой, и новый удар грома заглушил мой протестующий вопль.

В тех местах, где я был рождён, ворона считали хранителем общинной памяти, и многие семьи вели свой род от ворона. В том числе и моя мать.

Кирыак, Митроха – стояли рядом и молчали.

На Митроху я не держал обиды. Вообще о нём не думал. Он был временный напарник. Ещё совсем недавно я и знать его не знал. Но Кирыак, друг ранних лет, считай – брат, мог бы возразить. И не просто мог бы, а был обязан. Его семья тоже вела род от ворона. Ему, рыжему богатырю, ничего не стоило двумя тычками опрокинуть обоих кривошеих сволочей, и воспрепятствовать гадкому действию, освободить волшебную птицу – но увы; он ничего не сделал.

Я в первый раз видел, как подносят требу нижним богам.

Конечно, они жертвовали ворона, умную и сильную птицу, и притом дорогую.

В любом городе нашего мира найдётся тот, кто купит у вас пойманного ворона, чтобы зарезать и пролить его кровь на язык хозяина нижнего мира.

В любой селитбе найдётся хоть один желающий умертвить чернокрылого князя птиц, дабы приблизить чью-то беду, смерть, болезнь или досаду.

– Нет! – крикнул я.

Одноглазый птицелов тут же обратил ко мне кривое лицо.

– Ты против?

– Да! Против!

– Тогда давай что-то другое.

Подошёл второй птицелов, которого я всё это время принимал за тень первого, – но теперь, в свете молний, в свисте ветра, в ударах дождевых струй, этот второй показался мне много страшнее, злее и сильнее первого, одноглазого.

Самые страшные и опасные люди всегда держатся в тени, и вид их таков, что нельзя запомнить.

– Не отдашь это – отдавай другое! – велел он и сильно толкнул меня ладонью в плечо. – Испортишь требу – испортишь охоту! Отдавай, что есть! Быстрее!

Пока я думал, как ответить, одноглазый выхватил нож и поднял ворона вверх ногами, спутанного, обречённого.

Птица уже чувала близкий конец и билась, пытаясь освободиться.

– Быстрее! – крикнул одноглазый и оборотил взгляд на Кирьяка и Митроху: – Отдавайте самое дорогое!

Я не хотел участвовать в чёрной требе. Не хотел, чтобы хозяин нижнего мира обратил на меня свой взгляд и явил благосклонность.

Я бы предпочёл, чтоб он вовсе не знал о моём существовании.

Но ватага решила иначе.

Что я мог отдать? Медную бляху с пояса? Половину серебряной деньги? Свой бубен? Свою жизнь? Свою удачу? Больше я ничего не имел.

Ещё была любовь к девке Марье – но ради всех богов на свете, верхних, нижних, любых других, я бы не отдал ни Марью, ни свою любовь.

Дождь хлестал меня по лицу.

Одноглазый выхватил нож и одним сильным ударом отсёк ворону голову. Конечно, не так сноровисто, как это делают волхвы, – но достаточно быстро, чтобы птица не успела издать смертный стон.

Но всё-таки мне показалось, что я его услышал.

И когда ворон умер – какая-то малая часть меня умерла тоже.

Кровь хлынула на деревянного истукана, полилась по грубо вырезанному лику.

Обезглавленная птица сотряслась несколько раз; если бы не была спутана – наверное, хлопнула бы крыльями.

Птицы, как и люди, умирают небыстро: видели, как бежит курица, лишённая головы?

Когти сжались и разжались.

Я посмотрел на Кирьяка – тот стоял недвижно, с бессмысленными глазами, и его правая рука судорожно сжимала оберег – петушинный клюв – на широкой груди.

Одноглазый погрузил два узловатых пальца в голую шею птицы, как будто в кувшин, и помазал свежей кровью свой лоб и щёки.

– Во славу и ради удачи! – хрипло провозгласил он, и отдал обезглавленную птицу второму.

– Во славу и ради удачи! – крикнул второй, которого я теперь ненавидел люто.

Смотрел, как они грубыми резкими движениями взрезают умерщвлённого ворона, разламывают его грудину, проворно вырывают требуху.

Теперь, спустя сто лет, все вы знаете, что требуха и есть требная плоть. Мясо – людям, кишки – богам. Так был устроен тот древний, дикий мир, в котором я провёл свою молодость; нравится вам это или нет. Не стану пугать вас подробностями. Скажу лишь, что оба птицелова скинули рубахи и порты, остались нагими – в свете молний было видно, что их руки и морды загорели дочерна, а тела сохранили зимнюю белизну, – и обмазали себя, включая горла, животы, причиндалы и колени, дымящейся жертвенной кровью. А затем прыгали, под дождём

и ветром, через деревянного истукана, как через костёр, размахивая над головами вороньими кишками, словно победными флагами.

А потом мясо ворона сожрали, а кости и перья втоптали в мокрую траву.

И старый Митроха тоже жрал, двигая беззубым ртищем, и прыгал. И Кирьяк поучаствовал – но я на него не смотрел, не желал.

И по изгибам их костлявых спин я понимал: они очень хотят победить.

А я не хотел.

В победе не всегда есть правота, а в правоте не всегда есть победа.

И я знал, что чёрный бог не взял мою требу. Я не поднёс её от чистого сердца. Я не отдал самое дорогое, что у меня было. И в предстоящей охоте удача меня не ждала.

Птицеловы, наверное, хотели бы до конца соблюсти правила и спалить воронью требуху в костре – но дождь помешал.

Впрочем, костёр – не главное. И жертвенный камень – не главное. И даже истукан не обязателен.

Главное – кровь.

Только она возбуждает интерес богов.

Только горячая, свежая, алая – угодна хозяевам других миров.

Так же и меж людей: все мы прохладны, все мы прощаем другу другу слова и поступки, пока не пролилась кровь. Зато уж если пролилась – поднимается вой, набухает гнев, и вот уже брат идёт на брата, обнажив заточенное железо.

Обратно шли ещё быстрее, почти бежали.

Ветер гнул деревья, кидал нам в лица холодную небесную воду.

Бывает, что в общей требе, когда вся селитьба, от мала до велика, стоит вокруг жертвенного камня – один человек, или несколько, не разделяют совместного порыва. Когда режут птицу, или козлёнка, или тельца, или человека – бывает, что не все согласны. Эти молчаливые, возражающие, или просто глупые, или наоборот, слишком умные, или пришедшие ради общинной воли, из страха перед большинством, – есть всегда.

Не надо думать, что в годы моей юности, сто лет назад, мы все поголовно дрожали от страха перед силой богов и толпами бегали на требище по поводу и без повода.

Мы были разные тогда.

Как и вы теперь.

Сам я, как и было сказано раньше, никогда особенно не надеялся на хозяев верхнего, а тем более нижнего, подземного мира. Бывали меж нас и такие, кто вообще не верил в богов, и волхвов не слушал, а жил только своим личным разумением, а когда волхвы приходили – кидал в них камни. А были и третьи, которые сами себе придумывали богов и втихомолку подносили жертвы богу дёгтя или богу срамного духа. Были меж нас пришлые люди с севера, подносившие жертву великанам, и пришлые с востока, подносившие жертву Тангру, богу кочевников, любителю кумыса, и пришлые с юга, подносившие жертву богу, имя которого невозможно было даже выговорить, любители грибов-дурогонов, верившие в дерево, растущее из нижнего мира в верхний мир, и в белку, которая бежит по стволу того дерева, перенося сплетни от нижних богов к верхним – и обратно; разные, говорю, были мы тогда, в том старом мире, от которого теперь мало осталось.

Поэтому ни Кирьяк, ни Митроха, ни тем более птицеловы не упрекнули меня за то, что я не участвовал в требе. Ничего не сказали.

По их лицам, мокрым от дождя и крови, было видно: они вполне удовлетворены.

Они точно знали, что чёрный бог забрал вороньи кишки, съел и доволен.

Так мы вернулись к дому кузнеца.

Здесь одноглазый птицелов, снова пошептавшись с напарником, посмотрел на нас и сказал:

– Обнажите ножи, подготовьте дубины. Встаньте по углам дома. Не разговаривайте. Не шевелитесь. Ждите. Всё будет очень быстро. Промедлите – упустите. В такой темноте он не увидит сеть. Когда запутается – сразу бейте.

– А если не прилетит? – спросил Кирьяк. – В бурю птицы не летают.

– Он не птица, – ответил одноглазый.

После чего оба они исчезли во мраке.

– Боишься? – спросил меня Кирьяк.

– Сам бойся, – ответил я.

Кирьяк засмеялся, но из-за дождя и рёва ветра я не услышал его смеха – только почувствовал: он жаждал боя.

– Я его видел! – крикнул он, наклонившись к моему уху. – Я готов! А ты, если не хочешь, не лезь! Я справлюсь!

И показал мне нож.

Он был готов зарезать оборотня. Его обуял уже охотничий раж, и ярость, и желание мести. И я на миг поверил: в нужный миг мой ловкий, крепкий друг воткнёт лезвие в чужую шею.

Но потом я вспомнил, как вчера тот самый нелюдь, сокол Финист, пронёс моего друга по небу и сбросил мне на голову. Бездыханного, дрожащего, жалкого.

И я понял: Кирьяк уже ничего не соображает.

Его волей управляет высшая сущность, нажавшаяся вороньей требухи.

Со мной говорил уже не сам Кирьяк, но чёрный бог, овладевший его рассудком.

Страшно, тоскливо было понимать, что от меня ничего не зависит.

Я не участвовал в треве – но и не помешал. Не помешаю и теперь.

Охота началась, и я в ней был – зритель.

В этом беда всех, кто возражает.

Они спасают не мир, а самих себя.

Куда ушли птицеловы – я не видел. Тьма была – словно дёготь разлили.

Я не видел ни сети, натянутой где-то поверх моей головы, ни Митроху, сразу пошедшего, куда велели.

Слабый свет давало лишь окошко Марьи, освещённое изнутри, – но я знал, что девка спит, в её питье сёстры подмешали что надо.

Когда нелюдь явится – она не сможет ему помочь.

Не сговариваясь, мы с Кирьяком, вместо того, чтоб встать по углам дома, прижались к стене, рядом с освещённым окном, но так, чтобы свет на нас не падал.

Я стоял, упираясь лопатками в вековые брёвна, мокрый насквозь, угрюмый, стиснувший зубы, и видел: мой отказ, моё несогласие ничего не изменили. Надо было возражать громче, препятствовать решительней.

Если вершится нечто нехорошее – мало быть против. Мало просто молчать, или пыхтеть, или отворачиваться. Надо противодействовать всей силой, на которую способен.

Дождь хлестал по нам.

– Слушай, Кирьяк, – сказал я. – Ты понимаешь, что у нас ничего не выйдет?

Кирьяк ответил сразу и решительно, как будто ждал вопроса или даже сам был готов его задать.

– И что теперь? – прошептал, блеснув в темноте злым глазом. – Если хочешь – уходи.

– В следующий раз он сбросит тебя не с трёх сажений. Повыше поднимет. Полетишь из-под облаков, об землю грянешься – и от тебя останется мешок с костями.

– Да, он сильный, – нехотя ответил Кирьяк. – Это я признаю. Но нас пятеро. Навалимся – поглядим.

- Он и пятерых поломаёт.
- Значит, – сказал Кирьяк, – в следующий раз я ещё кого-нибудь позову. Будем биться, пока не побьём. Непобедимых врагов не бывает.
- А может, он не враг?
- А кто?
- Посторонний, – сказал я. – В своём мире живёт, а к нам попал случайно.
- Так не бывает. Мир у нас один. Средний. Принадлежит нам. Людям. Дадим слабину – нас пожрёт всякая нечисть.
- Нечисть желает людям зла. Нечисть ворует наших детей и пьёт нашу кровь. А он что делает?
- Он лезет к нашим бабам, – сказал Кирьяк. – По ночам, как вор. Был бы мирный и честный – вышел бы открыто. Днём. Подарок бы поднёс, в знак уважения. Люди так делают. А он – не сделал. Он распластался и отай в окно полез. И ты мне говоришь, что он – не враг? А кто тогда? Любезный кум? Череззаборный соседушка?
- Мир большой, – сказал я. – И мы не всё про него знаем. Мало ли какие диковины бывают. Если каждого пришлого сразу бить – пришлых не станет. Будем сидеть и друг на друга глядеть.
- Не понимаю, – сказал Кирьяк.
- Вдруг, – спросил я, – мы неправы? Вдруг мы у него чему-нибудь научимся?
- Я не хочу учиться, – сказал Кирьяк. – Я хочу, чтоб никто чужой не лез к нашим бабам. Кто своих баб не сторожит, тот сам бабой становится. Всё.

Бывает – тяжело, а бывает трудно.

Мне в ту ночь, под тем ливнем, стало трудно. Голова гудела, не вмещающая всех резонансов.

Моё сердце хотело взять девку Марью и увезти куда-нибудь подальше, в тихое место, на берег спокойной реки, на лесную окраину – и прожить с ней жизнь. И родить детей.

Но она не хотела. Она меня не любила.

Я был умный взрослый человек тринадцати годов, я точно знал – ей нельзя связываться с нелюдем, с чужаком, с существом из другого мира; неважно из какого.

Неважно, в скольких мирах мы живём.

Мы, венеды, обитающие вдоль рек на границе великой степи и великого леса, а также все племена, кто живёт к северу и западу от нас, – верим, что человек живёт в трёх мирах.

Кочевники, пахнущие конской мочой, думают, что мы живём в семи мирах.

Люди с дальнего запада – они иногда тоже доходят до наших мест – говорят, что мы живём всего в двух мирах, нынешнем – и следующем.

Теперь – и после смерти.

На вопрос, где мы находимся до нашего рождения, они не могут дать ответ.

Наши предки, древние из рода великанов, вообще не верили в миры. Их жизнь была настолько трудна и опасна, что они верили только в себя, и сами себе были богами, и каждый сам создавал свою Вселенную.

Так или иначе, семь миров вокруг нас, или два, или семь раз по два – если сущность из другого мира приходит к тебе, – с нею можно поговорить.

Что-то дать. Или что-то получить.

Но всерьёз связываться – нельзя.

Кто из вас хоть раз ясно ощущал присутствие духов или богов? Каждый скажет: да, было.

Они приходят, они являются нам.

Каждый, даже самый грубый и глупый, обязательно хоть раз в жизни что-то почувствует, что-то увидит.

Другой мир есть, это невозможно отрицать.

Иногда они приходят оттуда. Посторонние существа.

Я видел их много раз.

Я видел духов, бесплотных, они являлись мне и стояли рядом, как будто желая что-то сказать; но молчали; само их появление возле нас и означает послание.

Я видел рыбину размером с быка, по утрам она всплывала из омута посреди реки, выходила на мелководье и утаскивала под воду взрослых мужиков, пришедших искупаться перед началом работы.

Эта рыба, похожая на сома, только толще и длинней, невероятно живучая – когда её поймали, она билась, пока в её сердце не воткнули три рогатины, – считалась существом другого мира.

Ещё я видел однажды живого змея длиною в четыре лошади, сплошь покрытого кривыми рогами, от кончика хвоста до кончика морды, и ещё по хребту шёл двойной ряд таких же рогов; этот змей не ползал, а прыгал, он имел четыре лапы наподобие лягушачьих, и двигался так быстро, что я не успел его толком рассмотреть.

Если лягушка размером с кулак прыгает на расстояние человеческого шага, то этот змей прыгал на расстояние в тысячу шагов.

Этот змей, чудом не убивший меня, был существом из другого мира.

Много всяких удивительных тварей живут вокруг нас.

И если однажды кому-то явился летающий паренёк с бешеной силой в руках – что тут неожиданного?

Он может быть синеглазым красавцем, а может быть духом в образе человека, или змеем в образе духа; или человеком в образе рыбы – никогда не поймёшь.

Если такое существо является тебе на один миг – в этом нет ничего удивительного.

Но когда оно приходит и остаётся – его надо прогнать.

Если вас преследует дух, приходя ежедневно; или дурной сон; или чей-то образ, – надо избавляться, освобождаться.

Надо потребовать, чтоб дух ушёл, прогнать его.

Если прилетает крылатый малый – его надо спровадить домой. Обратно, в свой мир.

Дождевые черви живут вместе с людьми.

Если выкопать яму – они будут ползать по нашим ногам.

У них нет ни глаз, ни ушей, они ничего про нас не знают, в мире червей человека не существует.

Иногда люди являются в мир червей, чтобы раздавить одного, а другого разорвать на две части и посмотреть, что будет.

Так же и в ином мире – вокруг нас живут те, для кого мы так же понятны и забавны, как для нас понятны и забавны дождевые червяки.

Для мира деревьев люди – всё равно что боги.

Дерево никак не способно защититься от человека: когда он хочет, он срубает берёзу. Когда хочет – выращивает яблоню.

Но при этом, признавая власть человека, дерево живёт своим отдельным древесным бытованием: пьёт воду, растёт, укореняется, цветёт, даёт плоды – очень сложно, насыщенно живёт дерево, и если человек (его бог) ни разу не придёт и не явит свою власть – дерево так и проживёт свои столетия, ничего не зная о людях.

Точно так же и живут на свете существа, для которых мы – деревья, неподвижные и немые, зеленеющие по весне, плодоносящие осенью и голые зимой.

Один из нас может быть дубом, выросшим в дремучей чаще и никогда не слышавшим человеческого голоса.

Другой может быть вишнёвым деревом, которое заботливо высадили на солнечном склоне холма и поливали каждый день тёплой водой.

Мы не понимаем сущности тех, кто высаживает нас и возвращает, рубит и сжигает. Так же, как дерево не понимает сущности человека.

Теперь скажу последнее. За всё, что произошло потом, я не чувствую никакой вины. Я сделал всё, что мог. Везде, где я хотел исправить, – я попытался исправить.

Я много думал и сомневался, ломал голову, смотрел, говорил с другими. А сомнения и есть первый признак правоты.

Если сомневаешься – значит, правда рядом.

Я в ту ночь был прав.

Мокрый, оглохший, угрюмый – я был прав.

Девка, которую я любил, спала в доме, за толстой стеной, отравленная сонным зельем.

Друг, которого я любил, сверкал ножом и был готов пролить кровь.

Мир, который я любил, был непроницаем, и ревел вокруг меня хуже всякого живого зверя, и плевал в мои глаза холодной водой.

Я был прав в ту ночь, я ничего не мог поделать с ними со всеми.

Я слишком любил их всех, я слишком любил всё это.

15.

Когда оборотень прилетел – я, конечно, стоял столбом. Не успел ничего заметить и понять.

Была надежда, что услышу знакомый страшный свист, – но дождь лупил слишком яростно. Никакого свиста, ничего, только грохот воды в ушах, только слабый свет из окошка.

Потом тень ударилась в землю, посреди двора, с большой силой: словно торцом бревна грянули сверху вниз, забивая сваю.

Весь двор, утоптаный, земляной, под таким ливнем давно обратился в лужи – когда нелюдь упал, меня окатило чёрной водой.

Тут я увидел сеть – натянувшиеся отовсюду длинные шнуры; они обвилились вокруг нелюдя, но никак ему не помешали; он тут же подпрыгнул и рванулся всем телом – прямо в освещённое окно.

Размеры его остались непонятны. Сначала он был крупным, а когда запутался – мгновенно уменьшился. Или мне так показалось.

Лица я не рассмотрел, только общие очертания: в точности как человек, необычайно крепкий телом.

Он упал в сеть, прорвал её, подскочил – и кинулся в окно, увлекая за собой туго натянутые нити, которые лопались одна за другой, – и там, оказавшись внутри, грянул об стену; весь дом дрогнул и загудел.

Кирык поднял нож и изогнулся, готовясь прыгнуть; я видел его восторженную улыбку.

Внутри дома послышался ещё один удар – и сеть разорвалась вся, лишь одна нитка, самая крепкая, продолжала дрожать в чёрной пустоте; потом нелюдь выскочил назад.

Он вылез из окна и упал прямо нам под ноги: сильный, очень быстрый, точный в движениях.

Узлы порванной сети волочились за ним – он разрывал их резкими движениями длинных рук, а ногами искал опоры, чтобы вскочить.

Кирык прыгнул на него и с короткого замаха сунул ножом в бок.

Умелая расчётливость этой атаки меня ужаснула. Кирык не просто был готов биться, он продумал способ. В его прыжке не было ни единого лишнего движения.

Я помнил, мы договаривались о другом. Никаких ножей, никакой крови. Накостылять, проучить. Выбить, может быть, один или два зуба. Но теперь понимал: чёрный бог уже подхватил нас всех, возглавил наш поход – за смертью.

Кирыак хотел ударить ещё раз, так же и туда же, под руку, в подмышку – но нелюдь отмахнулся, словно оглоблей, и мой рыжий товарищ отлетел; ударился головой о стену; рухнул в грязь.

Пока он летел – за спиной оборотня появился старый Митроха, и двое птицеловов, все с ножами – и успели, каждый по разу, ударить нелюдя в спину, под лопатки.

Он закричал, но в ответ ничего не сделал.

Помню, он выгнул спину и поднял лицо к небу.

Вопль вышел очень сильным – я тут же оглох и потом всю ночь и весь следующий день ничего не слышал.

Потом он присел, оттолкнулся от земли и взмыл, унося на себе обрывки сети.

В темноте я не разглядел всего, я не видел его ударов, я не видел его глаз, я не видел его ран. Я скорее почувствовал и домыслил, чем узрел.

Мощные рывки сильного тела, и собственную беспомощность, и ударивший по щеке лохматый конец лопнувшего шнура.

Кирыак лежал у стены, живой – шевелил руками, пытался сесть. Нож выронил.

Одноглазому птицелову тоже досталось – он стоял посреди двора и вытирал запястьем кровь, хлещущую изо рта и носа.

В доме послышался ещё один удар, глуше и слабее: старшие сёстры пытались выбить запертую изнутри дверь Марьиной хороминки.

Потом в пятно света под окном медленно упали с неба обрывки сети: как будто нелюдь Финист вежливо возвращал наше имущество.

Сквозь пелену дождя я различил приближение человека, поднял нож: но то был одноглазый птицелов.

Он приблизился, посмотрел на меня, потом на Кирыака – и проскрипел громко:

– Упустили!

Я не сыскал в себе сил даже кивнуть.

Одноглазый показал мне на Кирыака.

– Найди его нож, – сказал. – И пойдём. Тут нечего делать.

Мы вернулись в лагерь.

Птицеловы пошли с нами и в очередь вместе со мной и Митрохой помогали идти удренному Кирыаку.

Я подбадривал рыжего друга, шутил, глумился: вот, говорил, нелюдь тебя в прошлый раз ушиб, и в этот раз добавил: значит, воспринимает всерьёз, как достойного соперника.

Но Кирыак молчал и за весь путь ни разу не улыбнулся.

Пока шли – буря утихла, дождь ослаб и теперь только сеял; по краю неба показался просвет.

В шалаше было насквозь мокро, но наши шкуры, спрятанные в чумалы, остались сухими. Мы умыли морды, разделись донага и завернулись.

Птицеловы достали свою флягу с мёдом, Митроха достал свою.

Старик выглядел спокойным, мирно жевал губами, вздыхал и убирал пальцем прилипшие ко лбу волосы, как будто вернулся не с охоты на нелюдя, а со сбора грибов.

Кирыак скрипел зубами от боли, но по виду – ничего не сломал.

Одноглазый птицелов подбирал кровавые сопли.

Его напарник, ни на кого не глядя, и выпив меньше прочих, и взяв себе самую куцую и голую из предложенных шкур, отвернулся, подтянул колени к груди и захрапел.

И я, услышав его мерный храп, вдруг успокоился, а тут и хмель ударил в голову, и вместо страха, жалости, тревоги и умственной смуты я ощутил покой.

Всё плохое, что могло произойти, уже произошло. Главное случилось. Дальше нас ждали только последствия.

Утром меня растолкал Кирьяк; а если б не растолкал, я бы, может, спал до вечера.

В ветвях бушевало горячее солнце, пели птицы, и небо было такой синевы, что глядеть – глаза болели. Ничего не напоминало о вчерашней буре. И я на один миг понадеялся, что всё случившееся ночью – дурной сон. Надежда подступила к горлу и отхлынула, сменилась ознобной горечью: нет, не сон.

Пока продирали глаза – увидел, что птицеловы ушли, зато у костерка напротив Митрохи сидела старшая кузнецова дочь Глафира. Выглядела спокойной, улыбалась даже; старик что-то ей говорил, она кивала и поправляла браслеты на руках.

Над огнём Митроха натянул бечеву и развесил наши порты и рубахи; старики бывают очень заботливы.

– Тебя ждём, – сказал Кирьяк. – Умой рожу и одевайся. Нас на разговор зовут.

Я не спросил, кто зовёт. Соображал плохо. Внешние звуки доносились словно из-за стены и отдавались в гудящей голове многократным эхом.

Молча ушёл к реке, смыл ночной пот, прибрал волосы, проверил руки: не осталось ли на них крови.

Пока одевался – кузнецова дочь Глафира деликатно отвернулась, но даже по её спине, по развёрнутым плечам было видно: довольна.

Одежда была ещё волглая, но ничего – на теле высохнет.

Отправились к дому кузнеца: Глафира впереди, мы с Кирьяком поотстали. Митроха ковылял последним.

После дождя лесные мхи набухли водой, сапоги мои мгновенно промокли, и я подумал, что бубны, упрятанные в чаще, наверное, тоже отсырели насквозь, надо было их срочно доставать и сушить под солнцем, иначе пропадут.

– Где птицеловы? – спросил я.

– Ушли, – ответил Кирьяк.

– А расчёт?

– А не было расчёта, – сказал Кирьяк. – Какой расчёт? Они дело не сделали, нелюдя не взяли. С утра пораньше меня растолкали, говорят – нам пора, давай заплати обещанное, вторую половину. Но я их послал. Какая, говорю, вторая половина, если вы работу испортили? Идите, говорю, пока целые, херовые из вас птицеловы, и то, что мы вам полденьги отдали, – это мы сильно переплатили. И ещё поблагодарите, что про ваши слабые умения мы никому не скажем. Я думал, они драться полезут, – но нет, ни словом не возразили, подхватились и ушли.

– Надо было меня разбудить, – сказал я.

– Ты крепко спал, – ответил Кирьяк. – Тебе было плохо, я видел. Ты был против этого всего.

– Да, – ответил я. – Против. Но я единственный из вас, кто сдержал слово. Договаривались не убивать его, а повязать и поговорить. А вы сразу с ножами кинулись.

– А как ещё? – спросил Кирьяк. – Ты его видел, он же страшно сильный, его и впятером не повалишь, такого кабана. Только ножами, до смерти.

Я ничего не сказал. Солнце быстро нагревало сырой лес, повсюду висел полупрозрачный белый пар.

– Зато, – сказал Кирьяк, – теперь я знаю, как его положить. Ещё раз сунется – положу точно.

Мой рыжий дружила приосанился: хоть и хромал, но явно полагал себя победителем. И, в общем, был прав: иногда с врагом сходишься не для того, чтоб уничтожить, а только чтоб понять, где слабые места.

Настоящая победа создаётся не за один раз.

– Может, ты не глумила? – спросил я. – Может, ты по крови – воин? Может, поменяешь судьбу, пока не поздно?

– Может, и поменяю, – ответил Кирыак. – Подрались мы на славу, это точно.

– Дурень, – сказал я. – Какая слава? Он мог сломать тебе хребет.

– Да, – спокойно сказал Кирыак. – Он мог сломать меня, я мог сломать его. Мало ли, кто чего мог. После драки кулаками не машут.

Во дворе кузни я не увидел ни следов боя, ни пятен крови, ни обрывков сетей. Только мерцал горячий воздух над поверхностью широких луж.

Окошко Марьи было закрыто плетёной ставенкой. Над кровлей поднимался пахучий дым.

В овине недовольно блеяла коза – её забыли вывести.

Мирно, славно было тут, и, если бы не звон в ушах, – я бы снова поверил, что ночной бой мне привиделся.

Средняя дочь открыла дверь и пропустила нас.

В большой хоромине пылал очаг.

У дальней стены за широким столом сидел кузнец Радим. Мы поклонились молча. Кузнец ел кашу, сильно загребая ложкой. Он махнул нам свободной рукой, приглашая сесть к столу.

При свете огня хозяин дома казался совсем чёрным, словно вылепленным из земли. Жевал тщательно, как все старики, лишённые зубов.

Мы усадились, неловко двигая лавку по деревянному полу, вчера сплошь исчерченному рунами, сегодня – наспех замытому.

Средняя дочь молча поставила перед нами братину с пивом и сама разлила по глиняным кружкам. Мы выпили. Кузнец долго рассматривал нас красными, налитыми яростью глазами.

– Кто позвал вас в мой дом?

– Твои дочери, – вежливо ответил Кирыак.

– Что? – громко переспросил кузнец.

– Твои дочери! – громко повторил Кирыак. – Но мы не заходили в дом. Только во двор.

– Чего? – спросил кузнец, морщась. – Говори громче!

– Нас позвали твои дочери! – выкрикнул Кирыак.

– Почему меня не предупредили?

– Твои дочери обещали, что сами скажут.

– Тут я хозяин, – сказал кузнец. – А не мои дочери.

– Мы не спорим! – крикнул старый Митроха. – Но есть обычай! Если нелюдь приходит в дом – надо прогонять сразу! Всем миром! Он твою младшую дочь зачаровал, а мог бы и других твоих дочерей, и тебя самого!

Кузнец молчал, слушал, жевал.

Митроха знаком попросил среднюю дочь долить пива, и добавил:

– Мы всё сделали правильно. Мы ничего не украли, убытка не сделали, никого не ушибли, вообще вреда не нанесли.

Кузнец нахмурился. Мне показалось, что он вот-вот выхватит из-под стола секиру и начнёт рубить нас в куски.

– Идите к ней, – сказал он. – Поглядите сами.

Мы тут же встали и пошли к двери Марьиной комнаты – я впереди.

Дверь, судя по всему, выломал сам кузнец: сначала разрезал кожаные петли, а потом вышиб с разбега.

В хороминке горела лучина.

Марья сидела на постели, поджав ноги к груди и обхватив колени; когда мы вошли – не подняла на нас взгляда.

Она была простоволоса, коса распущена – на девушку с неубранными волосами нельзя было смотреть, но я посмотрел. Задохнулся от жалости, но и от восхищения тоже. Она была так красива.

Не зная, что делать, я остался у входа.

Засов был разбит, под моими мокрыми подошвами хрустела щепка.

Старшая сестра протиснулась меж мной и Кирьяком, обдав меня жаром большого сильного тела, подошла к окну и потянула ремешок, пропущенный сквозь стену: наружная ставня поднялась, пропуская дневной свет.

Я увидел: окно по всем четырём сторонам было утыкано ножами.

Может быть, дюжина ножей, разных, больших и малых, кривых и прямых, и даже два серпа. Рукояти ножей удерживались верёвками и ремнями, а острия все были направлены в середину окна.

Я набрался храбрости и подошёл ближе. Увидел засохшую кровь: на остриях ножей и на нижнем краю окна. К кровавым пятнам пристали несколько маленьких перьев и частицы пуха.

Я взял одно из перьев – обыкновенное, птичье перо, смятое с одного края.

Захотел что-то сделать. Отвязать, распутать ремни и верёвки, убрать ножи. Но подумал, что в этом доме у меня нет никаких прав. Тут есть, кому решать, подумал я; четверо взрослых людей сами разберутся.

Младшая дочь сидела недвижно и на нас, гурьбой вошедших, не смотрела.

– Марья, – позвал я.

Она молчала.

Я подошёл ближе, хотел дотронуться, поймать взгляд, предложить воды, прикрыть одеялом голые худые плечи, – но ничего не сделал.

Хотел и большего. Хотел взять её на руки, укутать, прижать, унести из дома, посадить в лодку и забрать с собой. Подальше. Так далеко, как только возможно. И никогда не расставаться.

Ничего не сделал, не сказал ни слова, не посмотрел ни на кого.

Сжав перо в кулаке, вышел. За мной затопали Кирьяк и Митроха, также молча.

Кузнец продолжал сидеть за столом и жевать кашу, а когда мы вернулись – отодвинул еду, тщательно оближал ложку и отложил.

– Я вас не виню, – произнёс он. – Но и благодарить не буду.

Мы молчали.

– Она, – продолжил кузнец, и указал голым обожжённым подбородком на дверь Марьи, – просит сделать ей железные башмаки, железный посох и железный хлеб. Вы знаете, что это значит?

Мы переглянулись. Кирьяк оглянулся на старшую сестру: та пожала плечами.

– Может, утопиться решила? – предположил Митроха.

– Не знаю, – ответил кузнец. – Нам не говорит. Повторяет одно и то же. Железные обушки, железный хлеб, железный посох. Может, кто из вас спросит у неё, зачем?

– Может, и не надо спрашивать, – сказал я. – Просто сделай. Раз она просит.

Вдруг узкие глаза кузнеца налились слезами. Он поднял чёрную руку и вытер чёрным пальцем.

– Так уже б начал! – сказал он, словно жаловался; словно мы были его самые лучшие старые друзья. – Но надо же знать, зачем?! Как же я сделаю, если не знаю, какой из этого прок будет?

– Не надо ничего делать, – сказал Кирыак, и снова оглянулся на старшую. – Ждать надо. Она не в себе. Напугана. Оклемается – тогда поговоришь. Захочет железные сапоги – сделаешь ей сапоги.

Кузнец справился с собой, взял из-под локтя рушник и вытер лицо, покрытое в три слоя старыми и новыми ожогами.

По его виду было понятно – он не рассчитывал на нашу помощь, а на разговор пригласил только для порядка.

Всё, что случилось, – случилось внутри его семьи. А мы – три ухаля – просто проходили мимо и встряли.

Тягостный миг прервал Митроха.

– Прощай, отец Радим, – сказал он, кланяясь. – Мы уходим. На нас нет вины, и на тебе тоже. Прощай.

Кузнец кивнул, проглотил рыдания и сделал знак средней дочери: она тут же наполнила его кружку пивом.

Мы отвесили поклоны и гурьбой повалили к выходу.

Старшая сестра немедленно пошла следом, вывела нас за дверь.

Солнце жарило вовсю; во дворе чёрная мокрая земля исходила паром.

Была самая середина лета, лучшие дни всякого года; после бури установилась прекрасная жаркая свежесть, всё вокруг звенело и бушевало, кричали петухи, гудели пчёлы и стрекозы; тугой ветер нёс запах клевера; мир пребывал в покое и напивался животворным и целебным солнечным светом.

В такие дни все народы моей земли наслаждаются миром. Кочевники пасут стада, а славяне все дни проводят в лесах, горстями едят ягоды: малину, и землянику, и ежевику, и чернику, и клюкву.

Это короткие и счастливейшие времена тепла и неги, сахарной мякоти на губах.

Девки, вышедшие по весне замуж, обращаются в матерей, их щёки плотнеют, глаза смотрят внутрь себя, и руки то и дело непроизвольно тянутся к округлившимся животам.

И этот оборотень, подумал я тогда, – этот птичечеловек, незванный гость – неправ, зря пришёл именно в эти дни, зря внёс смятение в жизнь добрых людей.

Старшая дочь Глафира закрыла дверь и легла на неё спиной; глазами пожирала Кирыака.

Мы спустились с крыльца; я оглянулся и посмотрел на окошко Марьи.

Плетённая из ивовых прутьев ставня была поднята, и я рассмотрел самые кончики ножей и серпов, привязанных изнутри по краям окна.

Появилась длинная чёрная рука – это сам кузнец пришёл в комнату дочери и теперь снимал с окна привязанные ножи; чёрные пальцы пошарили по краям оконного проёма, стряхивая окровавленные перья, – и исчезли.

* * *

Кирыак негромко свистнул мне, показал глазами на старшую дочь и подмигнул, с серьёзным лицом. И быстро сложил пальцы в условный знак, который я вам тут показывать воздержусь – уж больно неприличный.

Я понял, кивнул и взял Митроху за локоть.

– Пойдём-ка, прогуляемся.

Митроха оглянулся на Кирьяка, удалявшегося в направлении нашего стана; старшая кузнецова дочь пошла следом, подметая подолом влажную траву; на приличном удалении, но той же тропой.

– А, – сказал кривоглазый дед. – Понятно. Конечно, пойдём, я не против... Я и сам хотел...

И ухмыльнулся: всё понял.

Мы перемотали обувь.

От пива, выпитого в доме кузнеца, моя голова приятно шумела – хотелось сделать себе какой-то подарок, порадовать нутро: например, выпить ещё. Или искупаться. Или хлеба свежего пожевать. Или поглумиться над кем-то, беззлобно, исключительно ради озорства; родить в людях смех.

Пошли по тропе вверх по оврагу.

– Твой друг своего не упустит, – сказал Митроха, шагая рядом со мной. – И серебро взял, и девку.

– Это не твоё дело, – ответил я. – Он всегда берёт, что можно взять.

Мы двинулись в сторону посада.

– Надо решить, что делать дальше, – сказал я. – Ты пойдёшь с нами? Или до дома?

– А зачем куда-то идти? – спросил Митроха. – Будем ходить туда-сюда – зря потратимся. У нас уже есть урок на осень. Тот Велибор, богатый мальчик, хочет, чтоб мы осенью сделали новое гульбище. Останемся в Резане. Осенью заработаем по полторы серебряных деньги на каждого. Лучше и придумать нельзя. От добра добра не ищут.

Старик говорил уверенно и коротко: он явно полагал себя полноправным участником нашей ватаги, как будто ходил с нами не первый год. И в его словах я уловил надежду и просьбу.

Дед Митроха не хотел расставаться с нами. Он мечтал, что мы позовём его третьим в шайку.

– Осенью, – сказал я, – всё изменится. Другая жизнь будет. Хлеб поспеет. Грибы пойдут. Охота начнётся. Князья вернутся из походов. Степняки приедут, торговля загудит. Доходы, деньги, сытые недели. А мы не лучшие глумилы в этих землях. И у нас не самые лучшие бубны. Сюда придут другие глумецкие ватаги. Я не уверен, что нас наймут на осенние праздники.

– Дурак, – сказал Митроха; его правый, кривой глаз сверкнул азартно. – Тебя уже наняли. Пойдём, сходим к нашему золотому мальчику. Договоримся определённо, возьмём задаток...

Мы бы спорили и дальше – но увидели, что навстречу нам едут трое верховых.

Первым – на вороном жеребце – скакал княжий злыдень, по случаю жары голый по пояс, огромный, страшный, с лицом недовольным и утомлённым, а за ним – двое воинов в полных бронях, с круглыми щитами и рогатинами.

Мокрое от пота, дочерна загорелое тело злыдня сплошь покрывали шрамы и боевые отметины.

Они увидели нас и осадили коней.

Мы с Митрохой остановились.

У каждого из троих через плечо на перевязи висело железное сажало длиной в полторы руки – от такого не убежать, не увернуться.

Княжий злыдень объехал нас, рассмотрел внимательно.

– Здесь рядом, – сказал он, – есть дом кузнеца Радима. Ночью там били нелюдя. Что вы об этом знаете?

– Всё знаем, – спокойно ответил дед Митроха. – Это мы и есть. Это мы били нелюдя.

Злыдень кивнул, ответ ему понравился.

– Там были пришлые глумилы, – сказал он.

– Мы и есть пришлые глумилы.

– А где ваш третий?

Митроха открыл было рот – но я его опередил.

– Какой третий?

Злыдень посмотрел на меня.

– Вас было трое.

– Почему трое? – спросил я. – Четверо. Двое нас, и двое птицеловов.

– А где птицеловы?

– Ушли.

– Куда ушли?

– Мы не знаем. Мы не местные.

Княжий злыдень сделал знак одному из воинов, тот спешился и подошёл ко мне, неловко переваливаясь на ногах, окривевших от многолетнего сидения в седле. Его наборная броня густо воняла прогорклым жиром.

Он рванул с пояса аркан и скучным тоном произнёс:

– Руки вытяни.

– Что?

– Руки вперёд вытяни.

Я сделал, как он просил; петля захлестнулась на моих запястьях.

Воин был взрослым, годился мне в отцы, и это примирило меня с происходящим, успокоило. Молодые доверяют взрослым. Взрослые не делают глупости, взрослые всегда поступают правильно.

Как ни крути, а молодым быть проще, спокойней.

Увидев, как меня повязали, Митроха сам подошёл, и встал рядом, и тоже вытянул руки.

Хлопнул узел второй петли.

– За что нас? – спросил я, поднимая связанные ладони.

– За дело, – ответил княжий злыдень. – Но ты не бойся. Разберёмся.

Они развернули коней и тронули шагом по направлению к городу.

Мы с Митрохой, привязанные арканами к сёдлам, побежали следом.

Когда старый всё-таки споткнулся и упал – воин, тащивший его, равнодушно придержал коня и подождал, пока Митроха поднимется и собьёт грязь с рубахи.

С нами они не разговаривали, меж собой тоже: известное дело. Чем ближе человек к настоящей власти, тем он меньше говорит.

Когда вели через посад – понабежали детишки, смеялись, пальцами показывали, свистели, и кто-то даже камнем кинул, однако не попал.

– Воров поймали! Воров поймали!

Я не обиделся и не расстроился. И даже камень, летевший мне в голову, меня не разозлил. С детей какой спрос? Мы не выглядели ворами. Воры не носят ярких рубах с цветными заплатами, воры не стригут бороды, и от воров пахнет страхом, тайным чахлым лесным костром, а главное – кровью.

А от нас, шутов-скоморохов, пахнет хмелем и весельем: совсем другое дело.

У городских ворот толпа поспешила расступиться перед княжим злыднем. Он не сбавил хода, и его широкогрудый вороной жеребец растоптал бы всякого, кто зазевался; но никто не зазевался. Голоса смолкли, и все посторонились, и оборотили к нам лица – и купцы, и бродяги, и древоделы, и маслобои, и солевары, и раколовы, и гости из отдалённых краёв, с головами, обмотанными тряпками, и с головами, выбритыми налысо, и с головами, покрытыми глубокими меховыми шапками, и девки-потаскухи, и досужие бездельники, и привратные стражи с жирными шеями, – все притихли и смотрели.

А собаки, наоборот, забрехали яростней: их натащали рвать каждого, кто связан, кого волокут на аркане.

Так я в четвёртый раз за одно лето вошёл в город Рязан.
В четвёртый раз – и в последний.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.